

ГРАНИ

GRANI

128

1983

Verlagsort: Frankfurt/M, April-Juni

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи»,
«Грани» № 1, июль, 1946.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXVII

№ 128

1983

СОДЕРЖАНИЕ

- Н. РУТЫЧ — К опубликованию писем генерала
А. И. Деникина 5
Письма генерала А. И. ДЕНИКИНА. Часть I (1922—1934) 31

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Александр БАХРАХ — Л. Брик и В. Маяковский.
(По памяти, по записям) 134

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- Юрий КУБЛАНОВСКИЙ — Ферапонтово. Этюд 151

ПУБЛИЦИСТИКА

- Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ — Некоторые вопросы отношений
Церкви, государства и общества в дореволюционной
России 157
Герман АНДРЕЕВ — Учение Льва Толстого о государстве
и противостоянии государственному злу в свете
сегодняшнего опыта 215
Валерий ГОЛОВСКОЙ — Об одном киноэпизode в жизни
В. В. Шульгина 262

БИБЛИОГРАФИЯ

- Н. Петров — Чекист обвиняет Сталина 274

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1983 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main
Издательство «П о с е в»

К опубликованию писем генерала А. И. Деникина

Публикуя письма генерала Антона Ивановича Деникина, адресованные одному из его ближайших друзей и соратников — полковнику Петру Владимировичу Колтышеву, — мы не только открываем одну из страниц истории эмиграции, но и, как нам кажется, вносим немаловажные дополнения в вышедший пока еще только по-английски очерк, посвященный жизни, борьбе и творчеству Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России в гражданской войне*.

Редакция приносит полковнику Петру Владимировичу Колтышеву самую глубокую благодарность не только за разрешение опубликовать адресованные ему письма генерала А. И. Деникина, но и за дружескую помощь при составлении примечаний, без которой настоящая публикация едва ли была бы осуществимой.

* „White against Red. The Life of General Anton Denikin” by D. V. Lehovich. W. Norton & C^o Inc. New York, 1974.

Мы уверены, что эти письма помогут восстановить правдивый облик генерала Деникина после того, как вот уже шесть десятилетий целый ряд партийных историков в СССР стремится представить одного из вождей Белого движения на Юге России как кровожадного тирана и погромщика, умышленно навязывая, вводя в историю гражданской войны понятие о некой страшной „Деникинщине”.

В поисках исторической правды, очевидно, важно не только напомнить о политической направленности первых добровольцев, выступивших за восстановление Российской государственной власти после октябрьского переворота, а также против позорного Брест-Литовского мирного договора, но и выяснить подлинное человеческое лицо, политический профиль одного из основоположников Добровольческой армии. Генералы Алексеев, Корнилов, Деникин, выступая вместе с основной массой добровольцев за восстановление утраченной в октябре 1917 г. свободы и национальной чести России, отнюдь не собирались навязывать свою волю народу. Как пишет генерал Деникин: „Будущих форм государственно-го строя руководители армии (генералы Корнилов, Алексеев) не предreshали, ставя их в зависимость от воли Всероссийского Учредительного собрания, созванного по водворении в стране правового порядка”*.

Иначе говоря, свобода и правовой строй вместе с понятиями „родина” и „отечество”, как синонимы национальной государственности, представлялись основоположникам Добровольческой армии вполне достаточным фундаментом для определения стратегической линии поведения в гражданской войне. Ге-

*Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты. Т. II, Париж, 1922, с. 341.

нерал Алексеев полностью согласился с ставшей широко известной речью генерала Деникина на Совещании командующих фронтами в июле 1917 г. (Деникин закончил ее призывом к Временному правительству, допустившему неограниченную свободу в армии: „... дайте нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами ... есть Родина ... Есть слава былых побед. Но вы — вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними”*) и противопоставил ее в своих записках выступлениям Брусилова и Керенского. Он записал тогда: „Кто будет впоследствии перечитывать многочисленные речи и воззвания к армии... тот с изумлением остановится перед фактом, что великие понятия „родина”, „отечество”, „Россия” — изгнаны из употребления. Перед кем ответственна армия ... „Перед революцией” или „перед демократией”... ”**.

В полном единомыслии с генералом Корниловым, генерал Деникин, будучи Главнокомандующим Западным фронтом, и его начальник штаба генерал Марков считали необходимым восстановить дисциплину и порядок в армии и помочь правительству создать нормальное положение в столице. Итог этой попытки известен — генерал Корнилов, генералы Деникин, Марков, Лукомский, Эрдели, Романовский и другие оказались, по приказу Керенского, в заключении в Быхове. Их голос не был услышан, а под предлогом „выступления генерала Корнилова” большевистские организации получили оружие, которым они и воспользовались для свержения Временного правительства.

* Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты. Т. I, вып. 2, с. 186. Изд. Павлоцкого, Париж, 1921.

** См. „Г р а н и” № 125, сс. 113-114 и 134.

Вместе с генералом Корниловым генерал Деникин бежал на Дон и присоединился к „Организации” генерала Алексеева, начавшего формировать первые добровольческие части из офицеров и молодежи, не желавших примириться с крушением России.

Нет необходимости еще раз останавливаться на боевом пути генерала Деникина до конца 1917 г. Сын крепостного крестьянина, выслужившегося из солдат в офицеры, А. И. Деникин смолоду отличался исключительной работоспособностью. Несмотря на убогие условия жизни в глухих гарнизонах, он сумел выдержать экзамены в Академию Генерального Штаба и, уже будучи штабным офицером в Маньчжурии, выделился своим умением разбираться в обстановке и личной храбростью во время русско-японской войны.

В начале первой мировой войны только что произведенный в генералы А. И. Деникин становится начальником знаменитой Железной бригады, развернутой потом в 4-ю Железную дивизию. Железные стрелки генерала Деникина стяжали себе незабываемую славу и во время Галицийской битвы 1914 г., и на Карпатах зимой 1915 г., и во время Луцкого прорыва в 1916 г. В сентябре того же года ген. Деникин становится командующим 8-м армейским корпусом, а после февральской революции 1917 г. — начальником штаба при Верховном Главнокомандующем ген. Алексееве, а затем Главнокомандующим Западным фронтом.

Генерал Деникин ничего не искал для себя лично. Никто не заставлял его поддерживать генерала Корнилова. Он мог бы, конечно, пользуясь своей репутацией боевого генерала, уклониться от того, что он считал своим долгом, и занять высокую должность в Красной армии, на что пошли — вольно или не-

вольно — немало генералов старой армии. Но он оказался на Дону вместе с генералами Алексеевым и Корниловым, в довольно неопределенном положении — помощника командующего численно ничтожной Добровольческой армии. С ней он вышел в первый Кубанский поход, плохо одетый, без сапог, оставив, как и генералы Алексеев и Корнилов, свою жену на территории, занятой большевиками...

Когда в марте 1918 г. под Екатеринодаром рядом с генералом Деникиным поставили носилки со смертельно раненым ген. Корниловым и начальник штаба Добровольческой армии обратился к нему с вопросом: „Вы примете командование армией?“, — генерал Деникин, не колеблясь, ответил : „Да”.

Он, конечно, хорошо знал, что многим в армии в эту минуту казалось, что „пришел конец всему”, что поползли слухи „о неизбежности плена и гибели”, но, тем не менее, у него, как он сам писал: „Не было ни минуты колебания... Морально я не имел права уклониться от тяжелой ноши, выпавшей на мою долю в ту минуту, когда армии грозила гибель”.*

Генерал Деникин готов был воевать — а воевать он умел доблестно и искусно, — но он отнюдь не стремился ни к власти, ни к тому, чтобы занять пост Главнокомандующего, ибо хорошо знал, что это положение связано с ролью не только военного, но и политического вождя. Вот почему в рапорте генералу Алексееву о принятии командования он приписал сверху слова „доношу, что”, подчеркивая этим, что его решение — и вынужденное, и временное. И только позже, когда ген. Алексеев при встрече сказал ему: „Ну, Антон Иванович, принимайте

* Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты. Т. II, сс. 299—303. Изд. Павлоцкого, Париж, 1922.

тяжелое наследство. Помоги вам Бог”, — он окончательно согласился.

Приняв командование, ген. Деникин вывел армию из окружения, восстановил ее моральные и физические силы, пополнил ее новыми добровольцами и повел ее в победоносный Второй Кубанский поход, завершившийся освобождением от большевистской власти всей Кубани, Терека, Ставропольской и Приморской областей.

Освобождение Кубани, а потом и Дона, поставило ген. Деникина в новое положение — Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России, ибо теперь ему были подчинены не только Добровольческая армия, в создании которой он, вместе с генералами Алексеевым и Корниловым, принял непосредственное участие, но и Кавказская (в которую входили кубанские и терские казачьи войска, а также добровольцы из северокавказских народов), и Донская. Командование этими армиями было тесно связано с политическими решениями. Приходилось считаться со стремлениями к автономии, а порой и — к независимости, в особенности в среде кубанской казачьей верхушки.

Освобождение к лету 1919 г. огромного пространства на юге России, когда фронт протянулся от Волги (у Царицына) до Днепра (у Киева), выдвинуло на первый план проблемы гражданского управления, неизбежно связанные в условиях гражданской войны с политическими решениями.

Нельзя сказать, что таких решений не было. Как мы уже видели, ген. Деникин не раз подчеркивал, что он, как и генералы Алексеев и Корнилов, призывал к борьбе за свободную и независимую Россию, с правовым строем, определяемым всенародно избранным Учредительным собранием. Нельзя, однако, отрицать, что эта позиция генералов, пер-

вых поднявших знамя освободительной борьбы, страдала непредрешенчеством, когда речь заходила о конкретных, социальных реформах, экономических обещаниях и об отношении к той или иной политической партии, за исключением большевиков. Поэтому — не касаясь оценок этой позиции позже, — в частности, в 1920-м году генералом Врангелем, — мы ограничимся лишь ссылкой на собственные слова ген. Деникина, по вопросу о „непредрешенчестве”.

„Непредрешение’ и ’уклонение’ от декларирования принципов будущего государственного устройства, которое до сих пор вызывает столько споров, были не ’теоретическими измышлениями’, не ’маской’, а требованием жизни. Вопрос этот — чрезвычайно прост, если подойти к нему без предвзятости: все три политические группировки противобольшевистского фронта — правые, либералы и умеренные социалисты — порознь были слишком слабы, чтобы нести бремя борьбы на своих плечах. ’Непредрешение’ давало им возможность сохранять плохой мир и идти одной дорогой... враждуя и тая в сердце — одни — республику, другие — монархию; одни — Учредительное собрание, другие — Земский собор, третьи — ’Законопреемственность’.

Неужели спасение России не стоило того, чтобы на время отложить эти споры? что касается лично меня, то такая постановка вопроса — нисколько не смущала мою совесть и была вполне искренна, уже потому, что я решил твердо и говорил об этом не раз — что за формы правления я вести борьбы — не буду”*

На причинах поражения Вооруженных сил Юга

* Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты. Т. IV, с. 201. Изд. „Слово”, Берлин, 1925.

России осенью 1919 г. достаточно подробно остановился в своем докладе последний начальник штаба Главнокомандующего, генерал П. С. Махров. Доклад этот — опубликованный впервые в № 124 „Грани“, — быть может, неполно освещает лишь причины хаоса в тылу и недостаточной дисциплинированности прежде всего в самих штабах армий, входивших в Вооруженные силы Юга России.

Сам генерал Деникин отмечает, в частности, „служебный иммунитет“ генерала Мамонтова, распустившего на две трети свой корпус после знаменитого рейда в тыл Красным армиям Южного фронта, или запоздалое увольнение командующего Добровольческой армии, генерала Май-Маевского, который, по словам ген. Деникина, „...ронял престиж власти и выпускал из рук вожжи управления”*

После отхода в Крым генерал Деникин нашел в себе мужество признать в письме генералу А. М. Драгомирову, что „внутренняя связь между вождем и армией порвана“, и приказал созвать Военный Совет для избрания нового главнокомандующего. После избрания генерала П. М. Врангеля в своем последнем приказе генерал Деникин назначил его новым Главнокомандующим, а сам 17 апреля 1920 г. прибыл на дредноуте „Мальборо“ в Лондон.

Согласно докладу бывшему министру иностранных дел С. Д. Сазонову русского поверенного в делах в Лондоне Е. Саблина от 21 апреля 1920 г., „генерал Деникин передал мне вчера для обмена 23.000 рублей царскими, несколько сот рублей керенками...“. Керенки ничего не стоили, а царские рубли можно было обменивать на ничтожную сумму в 12-15 фунтов стерлингов. „Это, — писал Саблин, — весь

* Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты. Т. V, с. 357. Изд. „Медный Всадник“, Берлин, 1926.

капитал бывшего Главнокомандующего”. Генерал Деникин не вывез с собой ни валюты, ни золота. Он отказался от предложенной ему английским правительством небольшой пенсии, считая невозможным для себя оказаться в зависимости от иностранного правительства...

Генерал Деникин начал свою эмигрантскую жизнь в бедности, граничившей с нищетой. Но он не сложил оружия. Уехав в далекое дачное местечко на озере Балатон в Венгрии, где при относительной дешевизне жизни можно было устроить свое хозяйство с курами, кроликами и огородом, он приступил к работе над огромным, пятитомным трудом, посвященным революции и гражданской войне. „Белое движение, — говорил он позже, в 1928 году, — является звеном”... в истории России. „Если вырвать /это/ звено из крепкой цепи, то не рухнет ли вся цепь, не рухнет ли вера в свою правду, в свое будущее?” Ставя так вопрос, он отвечал: „Но этого не будет! ибо никто и ничто не в силах зачеркнуть нашей истории”. В заключение своего выступления ген. Деникин заявил: „Добровольческая армия не боится истории: ее черные страницы с лихвой покрываются беззаветным служением Родине. Она ждет истории — не той, что окрашена злопыхательством политического разномыслия или сведением личных счетов, но истории честной и правдивой”*

* * *

*

* Цитируем по подлиннику собственноручной записи выступления генерала Деникина в ноябре 1928 г. по случаю 10-летия Первого Кубанского похода.

Генерал Деникин оставил фундаментальный труд „Очерки Русской Смуты”. Без этих объемистых пяти томов, написанных между 1920 и 1925 годами, стало немыслимо понимание и само познание истории России в эпоху революции и гражданской войны. И как бы ни было прошито это грандиозное историческое полотно субъективными нитями чувств, мыслей и переживаний генерала Деникина, — оно оставляет неизгладимое впечатление искренности и добросовестности автора, стремившегося всегда служить только России.

„Очерки Русской Смуты” не может обойти не только ни один историк за границей, но и теперь на этот труд, остающийся недоступным для широкого читателя в СССР, вынуждены ссылаться как рядовые советские историки вроде, например, Н. Г. Думовой*, призванные разоблачать „контрреволюционную сущность” русских общественных деятелей, поддерживавших генерала Деникина, так и сам партийный патриарх в области фальсификации истории — академик И. И. Минц**.

Оказалось, что 60 лет спустя после выхода первых томов „Очерков Русской Смуты” больше невозможно обходить их молчанием, если пытаться сохранить хоть какое-то правдоподобие в исследованиях о гражданской войне. Приходится, как, например, Г. З. Иоффе***, десятки раз цитировать Деникина с тем, чтобы этими старательно процеженными и дозированными каплями правды опрыскивать свой искусственно выращенный, чахлый и недолговечный партийный труд...

* Н. Г. Д у м о в а. Кадетская контрреволюция и ее разгром. Москва, 1982.

** Ак. И. И. М и н ц. Год. 1918. Москва, 1982.

*** Г. З. И о ф ф е. Крах Российской Монархической контрреволюции. Москва, 1977.

Как это хорошо видно из публикуемых нами писем, работа над „Очерками” нелегко давалась генералу Деникину, стремившемуся использовать как можно больше первоисточников. Конечно, его труд во многом облегчил генерал П. Н. Врангель, предоставивший ему нужные материалы из архива штаба Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России, находившегося тогда в Сремских Карловцах, в Югославии. Помимо этого архива, генерал Деникин широко пользовался свидетельствами своих соратников, разбросанных судьбой в эмигрантском рассеянии. Из писем видно, как неустанно обращался генерал к своим друзьям с целью достать необходимые документы или фотографии. Не следует также забывать, что генерал Деникин работал над своим трудом совершенно один. Даже все многочисленные схемы с положением сторон на фронтах гражданской войны (в одном пятом томе — их 13) выполнены его рукой.

Генерал Деникин редко жаловался на трудности и на те условия, в которых ему приходилось работать. Только однажды, в письме от 11.7.1924, он написал полковнику П. В. Колтышеву с озера Балатон: „Работа идет туго. К октябрю надеюсь закончить только первый выпуск IV тома; второй — к весне — это будет конец работы. Но непригодность к зиме нашей дачи выдвигает вопрос о переезде, не дожидаясь конца всего тома, т. е. в ноябре... В ближайшее время этот вопрос решим окончательно”. Эти сдержанные строки даже не приоткрывают картину той действительной обстановки, в которой работал генерал Деникин. Сколько требовалось творческого напряжения и усилий, видно из письма его жены Ксении Васильевны, относящегося к этому же времени, а именно — к марту 1924 г., в котором она писала: „А. И. сел уже за IV том, но

пишется ему трудно. Вы знаете нашу обстановку. Живем в двух комнатах, а печка одна, дверей закрыть нельзя. Ни тишины, ни уединения для работы...” (цитируем по подлиннику от 12.3.1924, любезно предоставленному нам полковником П. В. Колтышевым. — Н. Р.).

В тот год озеро Балатон покрылось льдом. Выходя в неотапливаемую промерзшую кухню, жена генерала жестоко простудилась и была вынуждена лечиться в соседней Австрии, куда, как она сама пишет, „услали ее доктора”...

Только благодаря исключительной работоспособности, выдержке и настойчивости, генерал Деникин сумел довести свою работу до конца. Он не скрывал, что она далась ему с трудом. „Работа идет тихо. С трудом. Устала голова. Окончание ее будет для меня большой радостью”, — говорит он в письме от 6.8.1925. В том же письме генерал Деникин ясно определил цели, которыми он руководствовался в своем грандиозном труде: „Решительно, однако, отклоняю упрек, который слышится иногда в том, что я уклонился от активной работы. Я убежден, что составление „Оч. Рус. См.” есть также активная работа. Очистить белую идею от нанесенной грязи, отделить ясной гранью светлые от черных страниц, определить тянувшие нас ко дну гири, помочь своим соратникам осознать их подвиг и наши ошибки — в историческом масштабе, все это, думаю, не бесполезно для настоящего и будущего”.

Закончив свой труд, генерал Деникин переезжает сначала в Бельгию, а потом во Францию, где постоянно все больше и больше входит в общественную и политическую жизнь.

Как видно из публикуемых писем, в начале 30-х годов ген. А. И. Деникин все чаще и чаще выступает на больших собраниях участников Белого движения.

К сожалению, эти его выступления и речи до сих пор не собраны и не изданы. А вместе с тем, некоторые из них остаются до сих пор актуальными, проливая свет на подлинное лицо Белого движения.

Приведем лишь, в качестве примера, отрывок речи, произнесенной ген. Деникиным 15 ноября 1931 года в зале мэрии XV-го парижского района, на открытом собрании участников Первого Кубанского похода, а также Степного и Похода Дроздовского с Румынского фронта:

„Национальное чувство ярко осеняло Белое движение, — подчеркнул А. И. Деникин, — оно родило Добровольческую армию. Оно преобразило мирную русскую интеллигенцию, бросив ее с головой в подпольную работу „Центров” и „Союзов”, — работу, подверженную смертельной опасности. Сколько участников их сложило головы в советском застенке! Наконец, это чувство воодушевило и собрало сотни тысяч Белых Воинов, вступивших в бой с поработителями и разрушителями России — во имя Родины... Армия не была политической организацией, — продолжал ген. Деникин, — и Белые Воины не были слугами ни правой реакции, ни — левого радикализма. Они служили, по крайнему своему разумению — только Родине. Это не значит, что лично члены Армии не имели и — не должны иметь политических убеждений...”*

* *
*

Окончание работы над „Очерками Русской Смуты” позволило генералу Деникину не только актив-

* Цитируем по журналу „Часовой” № 69 от 1 декабря 1931 г.

но включиться в политическую жизнь, но и вернуться к литературному творчеству. Еще будучи совсем молодым офицером, он начал писать очерки из военного быта, под псевдонимом И. Ночин. Его рассказы, описывающие быт заброшенных на западной границе гарнизонов, печатались в „Разведчике” и в „Варшавском Дневнике”.

За рубежом А. И. Деникин опубликовал в 1927 г. сборник рассказов „Офицеры”, написанных в Капбретоне, во время, как видно из его писем, довольно частого общения с писателем И. С. Шмелевым. Отметим попутно, что к этому же, Капбретонскому, периоду относится и работа И. С. Шмелева над его широко задуманным романом „Солдаты”, первые две части которого были опубликованы в „Современных Записках” №№ 41 и 42, в 1930 г., а последний отрывок — в нашем журнале, в 1955 г. (см. „Грани” № 25).

Многие черты дореволюционного военного быта описаны в этом незаконченном романе с таким профессиональным знанием и с такими деталями, что едва ли можно сомневаться в том, что дружеское общение его автора с ген. Деникиным плодотворно сказалось на творчестве Шмелева этого периода. В частности, трудно не заметить, что главный герой этого романа Шмелева — капитан Бураев — вспоминает со своими сослуживцами бои в давно забытых маньчжурских деревнях под Мукденом, которые едва ли кто-нибудь мог помнить, кроме действительно участвовавшего в них молодого капитана Деникина.

Дружеские отношения между Деникиным и Шмелевым продолжались многие годы и после Капбретона. Как видно из публикуемых писем, ген. Деникин снова хлопочет — как устроить получше Шмелевых в горной деревушке Аллемон. Вопрос о влия-

нии ген. Деникина на Шмелева еще не исследован, но их дружеское общение несомненно отразилось на творчестве И. С. Шмелева, и недаром советская Краткая Литературная Энциклопедия поставила свой штамп на это произведение Шмелева: „Лубочный роман — 'Солдаты' ”*.

Говоря о литературных связях ген. Деникина, нельзя забывать, что он был близок не только с одним И. С. Шмелевым. В Капбретоне у него бывал Бальмонт, а в Париже ген. Деникин стремился не пропускать литературных вечеров, особенно когда читал свои произведения И. А. Бунин. Устройством вечеров Бунина в Париже обычно занимался А. В. Бахрах, поделившийся с нами одним эпизодом из своего литературного ларца, хорошо известного по подзаголовку „По памяти, по записям”. Александр Васильевич вспоминает, как Бунин, будучи заранее уверен, что ген. Деникин придет послушать его чтение, настойчиво попросил устроить так, чтобы с генерала ни в коем случае не брали денег за вход. Генерала Деникина, рассказывает А. В. Бахрах, нетрудно было узнать по бородке „клином” и по хорошо сохранившейся военной выправке. Разумеется, он хотел платить, но Александру Васильевичу удалось „отразить” его натиск...

Возвращаясь к „Очеркам” ген. Деникина, нельзя пройти мимо одного из них, под названием „Исповедь”. В основе этого рассказа лежит подлинная, хотя до сих пор до конца и не раскрытая история внезапной смерти командарма одной из армий Южного фронта накануне решающей, можно сказать — судьбоносной, Орловско-Кромской операции, осенью 1919 г.

* Краткая Литературная Энциклопедия, т. 8, с. 750.

В этом рассказе ген. Деникин описывает, без сомнения, хорошо ему лично знакомого генерала Владимира Ивановича Селивачёва. Как и генерал Деникин, ген. В. И. Селивачёв начал первую мировую войну командиром отдельной бригады (он был начальником 4-й Финляндской бригады, входившей в 22-й корпус, с которой он участвовал в жестоких боях в Восточной Пруссии осенью 1914 г.) и быстро продвинулся вперед, в ходе войны.

Коммунистическое руководство Красной армии высоко оценивало ген. Селивачёва как „военспеца“, и он командовал осенью 1919 г. ударной группой в составе 8-й и 13-й армий Южного фронта. Ожидалось его назначение Командующим этого фронта. В штабе Деникина, как свидетельствует П. В. Колтышев (служивший молодым офицером у Селивачёва в 4-й Финляндской бригаде), не сомневались в политических симпатиях к белым талантливого и умного противника, по прозвищу „Сахарная голова“.

В рассказе ген. Деникина этот красный командарм умышленно ведет операции с таким расчетом, чтобы обеспечить победу белым. Будучи заподозрен в измене своим комиссаром, он внезапно умирает от подсыпанного ему яда. Комиссар решил отравить командарма, после того как „нарком“ (так — у Деникина) напомнил ему, что рано еще открыто уничтожать необходимых для Красной армии „военспецов“. Пред смертью, на исповеди у священника, разрешенной комиссаром в расчете на получение нужных ему доказательств измены, командарм и не скрывает своего сочувствия белым.

Когда ген. Деникин писал свой рассказ, он не мог знать содержания секретных телеграмм Ленина, касающихся генерала Селивачёва, опубликованных сравнительно недавно.

В телеграмме члену Р.В.С. Южного фронта С. И. Гусеву от 16 сентября 1919 г. (а, как мы видели, в составе этого фронта ген. Селивачёв командовал группой из 8-й и 13-й армий) Ленин писал, в частности: „... Связи с Селивачёвым не установили, надзора за ним не установили, вопреки давнему и прямому требованию Цека ... Если Селивачёв сбежит или его начдивы изменят, виноват будет РВСР”*

В тот же день, 16 сентября 1919 г., видимо, получив какие-то новые данные, Ленин в телеграмме Троцкому, Серебрякову, Лашевичу писал: „Политбюро ЦК считает абсолютно недопустимым, что Селивачёв остается до сих пор без особого надзора, вопреки решению ЦК. Настаиваем на установлении связи хотя бы аэропланом и на посылке к нему Серебрякова во что бы то ни стало и немедленно, комиссаром при Селивачёве”. И наконец, Ленин дает прямое указание в той же телеграмме: „Политбюро поручает т. Сталину переговорить с Главкомом и поставить ему на вид недостаточность его мер по установлению связи с Селивачёвым и по предотвращению подозрительной небрежности, если не измены...”**

На следующий день после этого ленинского поручения Сталину генерал В. И. Селивачёв скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах.

Пока можно лишь сказать, что и на литературном поприще генерал Деникин стремился не уходить в сторону от исторической правды.

*В. И. Ленин. Полное собр. соч., том 51, сс. 49-50.

**В. И. Ленин. Полное собр. соч., том 51, с. 51.

Предоставивший нам письма ген. Деникина полковник П. В. Колтышев познакомился с их автором по телефону в 1915 г. на Юго-Западном фронте, еще во время первой мировой войны.

Будучи тогда офицером для поручений, а потом — исполняя должность старшего адъютанта генерального штаба в 40-м корпусе, в который входила 4-я, Железная дивизия генерала Деникина, полковник Колтышев часто вызывал по службе ее командира. Уже в эмиграции, как свидетельствует генерал П. С. Махров, на одном из банкетов, данном друзьями бывшего Главнокомандующего в его честь, генерал Деникин шутя сказал, обращаясь к полковнику Колтышеву: „А помните, Петр Владимирович, когда я командовал Железной дивизией, а вы из штаба Корпуса вызывали меня по телефону и отдавали распоряжения, как я всегда отвечал вам: 'Слушаюсь, будет исполнено!' ”*.

Так во время Чарторийской операции, а потом — Луцкого прорыва, завязалась дружба между молодым капитаном, причисленным к генеральному штабу, и одним из наиболее выдающихся молодых генералов Русской армии.

Полковник Колтышев пришел в Добровольческую армию с отрядом полковника Дроздовского, с Румынского фронта, и проделал весь Второй Кубанский поход, будучи начальником штаба 3-й, Дроздовской дивизии Добровольческой армии. После тяжелого заболевания тифом он был взят генералом Деникиным в штаб армии и назначен до-

* Ген. П. С. М а х р о в. „Из воспоминаний”, рукопись, с. 55.

кладчиком по оперативной части при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. Среди немногих лиц, составлявших в свободное от занятий и объездов время „обычное мое общество, — вспоминает ген. Деникин, — был и полковник Колтышев — докладчик по оперативной части, всецело живший интересами фронта”. В примечаниях на той же странице ген. Деникин сообщает дополнительные данные о полковнике Колтышеве: „Штаб-офицер для поручений. После моего ухода вернулся в Дроздовскую дивизию, на должность рядового; потом — доблестно водил в бой полковые команды и дважды тяжело ранен”*.

После боев в северной Таврии в 1920 г. полковник Колтышев был эвакуирован из Крыма. Вместе с Дроздовской дивизией он оказался в Галлиполийском лагере. После переезда дивизии, свернутой в полк, в Болгарию, он выехал, с разрешения командира полка, на работу во Францию. Первые письма генерала Деникина полковнику Колтышеву во Францию застают его рабочим — на автомобильном заводе „Ситроен”. Вскоре он становится шофером парижского такси и, как мы видим, несмотря на тяжелый и изматывающий труд таксиста, всегда находит время и силы для помощи генералу, как в работе над „Очерками Русской Смуты”, так и над другими его военно-историческими и политическими книгами и брошюрами. В самом конце 1934 г. полковник П. В. Колтышев сопровождал ген. Деникина в его поездке в Югославию и Чехословакию, где генерал встречался со многими представителями военных и общественных организаций русской эмиграции в этих странах.

* Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты. Т. V, с. 324. Изд. „Медный Всадник”, Берлин, 1926.

Свыше пятисот писем ген. Деникина, просмотренных нами, написаны им большей частью от руки. Лишь немногие — на машинке. Письма эти охватывают четверть века — с 1922 по 1947 гг. Многие из них касаются лишь текущих дел, времени и места для улаживаемых заранее встреч в Париже, поздравлений к праздникам и т. д. Опуская их, мы публикуем лишь те, которые могут, как нам кажется, заинтересовать всех тех, кто занимается историей эмиграции, а также тех, кого интересует мнение генерала Деникина по тем или иным вопросам.

Во всех публикуемых нами письмах мы не позволяем себе никаких сокращений, изменений или поправок. В частности, все многоточия — принадлежат автору писем. Почти все имена лиц, обозначенных в письмах инициалами, удалось расшифровать. Что же касается бросающихся в глаза иногда довольно продолжительных перерывов в переписке, то это объясняется тем, что с переездом ген. Деникина в предместье Парижа — Ванв — частые личные встречи с полковником Колтышевым заменили переписку.

Переписка возобновлялась, когда ген. Деникин уезжал надолго из Парижа на берег моря, в Капбретон или в горную деревушку Аллемон. Таким образом, первая часть переписки, охватывающая период 20-х и начала 30-х гг., включает письма ген. Деникина с озера Балатон — в Венгрии, затем — из Брюсселя и, наконец, — из Капбретона и Аллемона. Лишь короткие записки изредка отправляются генералом Деникиным из Ванва — одного предместья Парижа — в другое — Левалуа-Перрет, где безвыездно жил полковник П. В. Колтышев.

Переписка принимает более регулярный характер после переезда ген. Деникина в одну из деревень под городом Шартром — в Мантенон, а потом Сан-

Пия. Однако в силу регулярных встреч, во время приездов ген. Деникина в Париж, письма этого периода становятся короче и из них выпадает ряд тем, — очевидно, в предвидении личного общения.

Все письма генерала Деникина, написанные за четверть века, оставляют впечатление о постоянстве его политических взглядов и — бескомпромиссного отношения к советскому режиму. Характерно, что первое дошедшее до нас письмо начинается с осуждения вернувшихся в Советский Союз генералов Слащева и Гравицкого и выражения глубокой уверенности в том, что, несмотря на эту измену, борьба за Россию — будет продолжена, вопреки всем трудностям, которые ждут Белых Воинов в эмиграции.

Генерал Деникин никогда не менял своих взглядов, оставаясь всегда верным идее служения России. Вопреки распространяемым после конца войны слухам, он никогда не скатывался к сменевеховству, никогда не строил мостов между Россией и коммунистической властью.

В одном из своих последних писем, относящемся к маю 1946 г., анализируя настроения, приведшие к так называемому „советскому патриотизму” (охватившие, впрочем, лишь незначительную часть эмиграции), генерал Деникин писал: „После блестящих побед Красной армии у многих людей появилась аберрация... как-то поблекла, отошла на задний план та сторона большевистского нашествия и оккупации соседних государств, которая принесла им разорение, террор, большевизацию и порабощение...” И далее он продолжал: „Вы знаете мою точку зрения. Советы несут страшное бедствие народам, стремясь к мировому господству. Советы являются стороной нападающей, а не обороняющейся. Наглая, провокационная, угрожающая бывшим союзникам, поднимающая волну ненависти политика их грозит

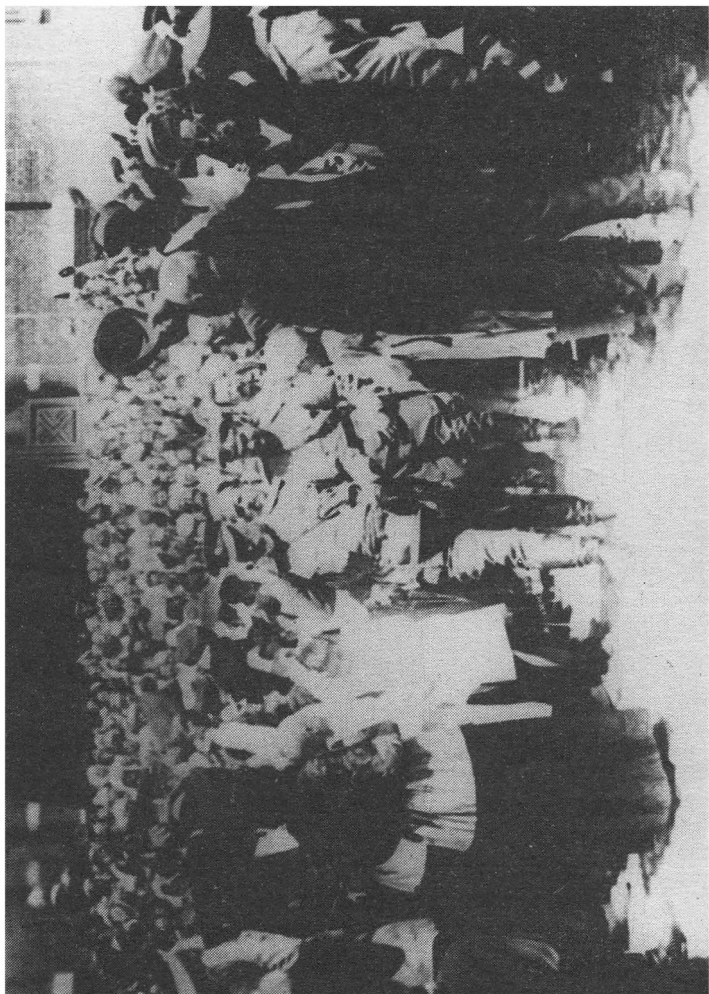
обратить в прах все, что достигнуто патриотическим подъемом и кровью русского народа... И поэтому, верные нашему лозунгу — „Защита России”, отстаивая неприкосновенность российской территории и жизненные интересы страны, мы не смеем в какой бы то ни было форме солидаризироваться с советской политикой — политикой коммунистического империализма” (цитируем по подлиннику. — Н. Р.).

К этим словам генерала Деникина нечего добавить. До самой своей смерти он оставался верен тем идеям и идеалам Добровольчества, с которыми он выступил в 1918 г.

Что же касается личных и человеческих отношений генерала Деникина к своим друзьям, то публикуемые нами письма свидетельствуют о нем как о мягком, добром, отзывчивом и заботливом друге. Ему не чужда известная сентиментальность в дружеских отношениях („соскучился по Вас”, „не дождусь Вас”) и, быть может, несколько провинциальная уютность, особенно тогда, когда он зовет к себе в гости („мы сможем наговориться”).

Генерал Деникин обладал, безусловно, шармом, влияние которого испытывали на себе все его личные друзья. И в сочетании с традиционной военной простотой в отношениях с младшими товарищами, сохранившихся, быть может, еще со времен „Капитанской дочки”, его подпись „Любящий Вас А. Деникин” всегда воспринималась как выражение его подлинных чувств.

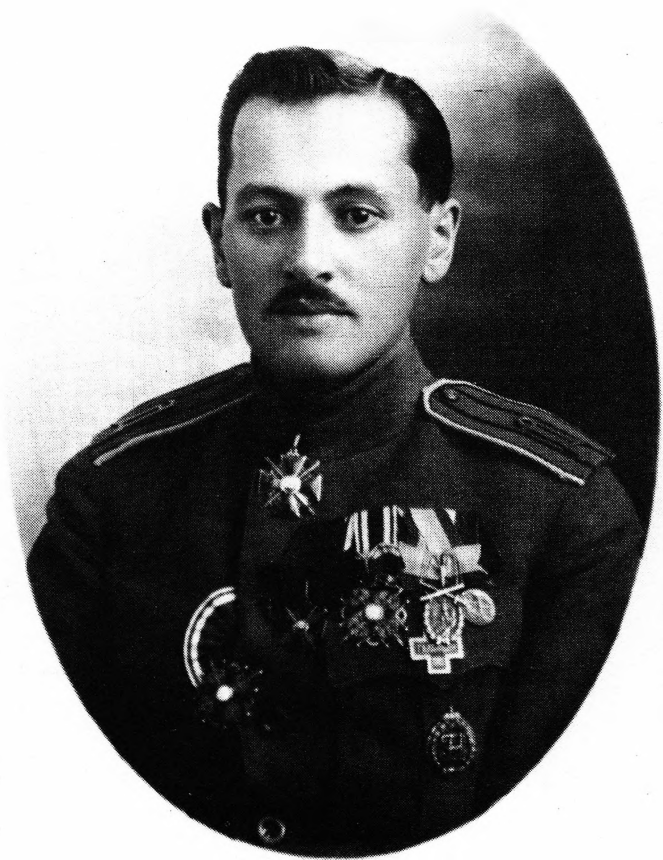
Н. Рутыч



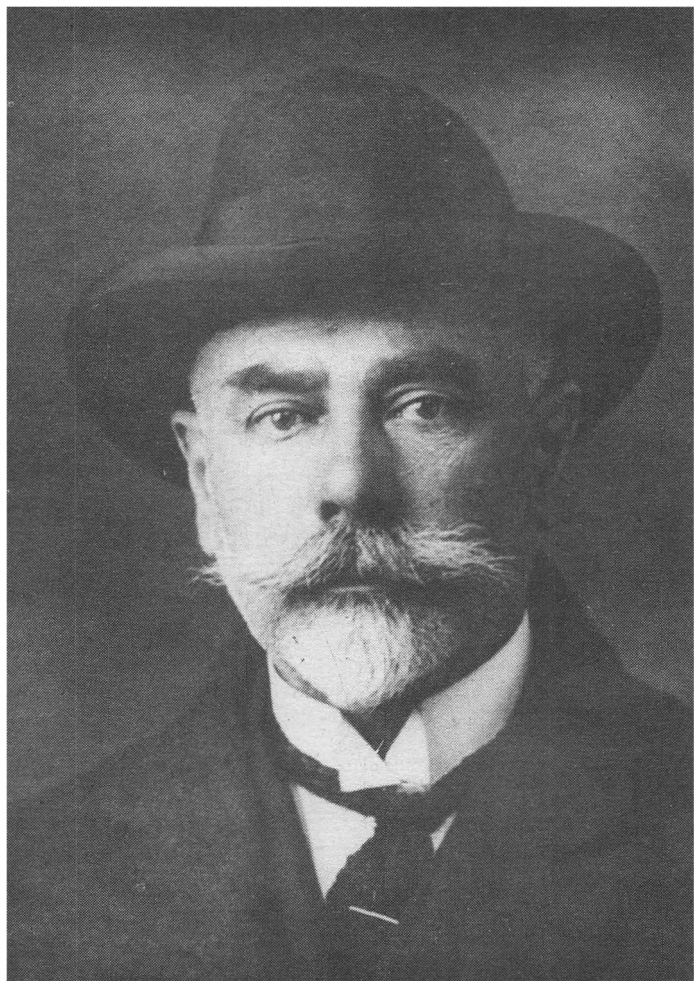
Генерал А. И. Деникин со штабом после молебна в Царицыне 20 июня 1919 г, в день отдачи „Московской директивы”.



Генерал А. П. Кутепов. Париж.



Полковник П. В. Колтышев в Болгарии в начале 20-х годов, вскоре после переезда 1-го Армейского корпуса из лагеря в Галлиполи.



Генерал А. И. Деникин в Париже. 30-е годы.

Письма генерала А. И. Деникина

Часть I (1922 — 1934)

8.11.22

Многоуважаемый Петр Владимирович,

С душевной скорбью слежу за судьбами родного мне добровольчества. За тем, как с каждым днем расстраиваются его ряды и пустеет „душа” патриотического движения, овеянного подвигом и страданием.

Условия, в которые поставлено сейчас добровольчество, безмерно тяжелы: перспективы неясны и отдаленны. Сильные духом, идейные люди, конечно, сохраняют непоколебимо веру в свое дело, надежду на лучшие дни (половина строки неразборчива. — Ред.), среднее добровольчество падает духом. Но благоразумие-то можно ожидать от кого?!

Кто теперь зовет их?

Слащев, Гравицкий и другие люди, которые ведь хорошо должны знать цену в армии, они объаты честолубием и на страданиях и растерянности своих бывших соратников строят личную карьеру и благополучие. Конечно, они совершенно чужды коммунизму и в душе враждебны советской власти. И даже за день до ее падения непременно приложат к нему руку, с целью оправдать свое прошлое предательство... Но пока большевизм еще в силе, они будут служить ему за совесть, замедляя его падение, с рвением отступника и под страхом жестокого возмездия. И будут продавать и идею, и ведомые им тайны, и живых людей — своих прежних соратников, доверившихся им.

Подготовили письма к печати и составили примечания
Н. Н. Рутыч и Н. М. Янов.

Куда зовут они?

В страну, где невыносимые условия жизни привели к физическому вымиранию и моральному одиночеству, где — голод, холод и мор; где материальные условия существования стократ хуже даже, чем на болгарских рудниках... Конечно, все эти тяжкие условия не остановят русских людей, изнывающих в тоске по Родине, от возвращения в нее... Но только тогда, когда наступит рассвет и можно будет принести свой труд, свой разум, свою жизнь на служение ей — Родине, а не советской власти. При нынешних условиях это невозможно.

Зачем зовут?

Этот вопрос разрешается с исчерпывающей ясностью как идеологией коммунизма, так и советской практикой: что может пригодиться — отдать, конечно, что покажется опасным — будет уничтожено. Так, весьма небольшая часть добровольцев, типа Слащева* и Гравицкого, людей беспринципных и беззастенчивых, будет приближена к власти. Не надолго. По ненадобности и их уберут, или же, инсценировав покушение на советскую власть, посадят в подвал и потом без шума расстреляют. Часть лучших добровольцев, которых прошлое и нравственный облик не дают уверенности в их искреннемприятии большевизма, будут просто убиты. Остальные будут странствовать по чрезвычайкам, гнить в концентрационных лагерях, попадут и в красную армию. Там их встретят разнo: коммунисты с враждебной подозрительностью, „воен-спецы” с презрением, а солдатская масса со злобой. И придется им

* Ген. Слащев и др. вернулись после гражданской войны в Советский Союз, поверив обещанной амнистии. Ген. Слащев после короткого пребывания в Академии Ген. штаба в Москве был переведен в Белоруссию, где бесследно исчез.

испытать нравственные муки, много горше тех, которые перенесло несчастное офицерство в 1917 г.

Что же делать?

Год тому назад с таким вопросом обратились ко мне из Армии. Мой ответ и теперь, при обстановке несравненно более тяжелой и в материальном и в моральном отношении, остается прежним:

Терпеть, учиться и работать, сохраняя тесную нравственную связь со своими ячейками, теми, которые называли ранее „полками”, „батареями” и которые, быть может, будут называться „рабочими артелями” или еще как-нибудь; но они сохраняют те /же/ традиции и организацию. Без нее добровольчество обратится в беженскую пыль. И если в нынешней небывало тяжелой обстановке добровольчество сохранит дух живой и физические силы, закалит волю и характер и сбережет от растлевающего влияния политиканов, особенно в последнее время нажимающих и справа и слева, то без сомнения оно явится неоценимым материалом для строительства и родной Армии, и новой российской жизни.

Все это пишу не для Вас лично. Не для чего убеждать человека, во что он твердо верит сам. Но буду рад, если мои слова остановят кого-нибудь от необдуманного и рокового шага — отъезда в Советскую Россию...

Искренний Вам привет.

Уважающий Вас

А. Деникин

Получено 5.9.23

Многоуважаемый Петр Владимирович,

Не знаю, застанет ли еще письмо это Вас в Болгарии. На всякий случай несколько слов.

Все тетрадки прибыли благополучно и описанием

Ставропольского/ сражения как раз и заканчивается военная часть III тома. Если будете в Сербии, в штабе, то будьте добры поискать следующее: 1) хоть 2-3 директивы за авг.-ноябрь, 2) установите с Ку-сонским (он с нами тогда ездил) даты наших походов в октябре между Ставрополем/—Армавиром—Невинномысской (у меня сложилось тут впечатление и трудно вспомнить, когда отдавались те или иные директивы), 3) инструкцию, данную мною в августе начштабам, как на случай столкновения с небълицами (хроника по штабу), и 4) письмо мое Шульгину об ориентациях (было размножено и в копиях разослано п-кам дивизий).

Получили ли перевод, который мне обещали послать для Вас?

Надеюсь скоро увидеть Вас у себя и тогда поговорим как следует.

Будьте здоровы.

Уважающий Вас

А. Деникин

2.1.24

Balaton-Lelle

Дорогой Петр Владимирович,

Очень нас всех взволновало происшедшее с Вами несчастье. Неосторожно Вы поступили, ринувшись в столицу мира без всякой предварительной подготовки. На физической работе Вы, конечно, пропадете*. И потому надо как-нибудь выходить из положения. Если поиски интеллектуального труда или университетской стипендии окажутся безнадежными,

* Приехав в Париж из Болгарии, полковник П. В. Колтышев поступил простым рабочим на автозавод „Ситроен”, где и произошел несчастный случай.

то временно Вам следовало бы пожить у нас, по крайней мере до окончания IV тома „Оч/ерков/ Рус/ской/ См/уты/”. Нечего и говорить, что Ваша помощь была бы мне весьма ценна, а Вы сами могли бы использовать время деревенской скуки для приведения в порядок своих записок. Есть, конечно, кроме скуки, и другие минусы — теснота: полк. Яхонтов с дочерью расположился в большой комнате, в которой Вы спали, а Вам пришлось бы спать в столовой на второй кушетке (на одной спит дед), т. е. не иметь своего отдельного угла. Было бы зато тепло, светло и в обществе людей, весьма к Вам расположенных.

В своих поисках, терзаниях подумайте об этой комбинации.

В „Посл/едних/ Новост/ях/ как-то печатались правила, обязывающие работодателей к возмещению убытков искалеченных рабочих. Известны ли они Вам и требуете ли компенсации с завода? Разъяснения Вы можете получить в редакции. Необходимо использовать полностью свои права.

От души желаю Вам скорейшего излечения и новых сил к борьбе за существование. Жена шлет привет.

С Новым годом!

Уважающий Вас

А. Деникин

18.2.24

Многоуважаемый Петр Владимирович,

Я знаю, что писать Вам трудно. Но время от времени черкните открытку, чтобы держать нас чаще в курсе Вашего лечения. Так грустно все это, и так не вовремя прерваны Ваши первые шаги в „Вавилоне”.

Скверная идет в нем беженская политика и на нездоровой почве ее все больше и больше тускнеет и идея добровольчества и облик уцелевших остатков армии.

У нас без перемен. Недели через две окончу подбор и распределение материала и тогда возьмусь за составление 4-го тома. Жена в Брюсселе. Вчера, 17-го, была свадьба Н. Л. Корниловой с Шапроном. Хотел проехать туда и Кутепов из Парижа. На обратном пути в Сербию он предполагает заехать ко мне. Давно не видел. Интересно.

Дай Вам Бог поскорее поправиться.

Всего наилучшего.

Уважающий Вас

А. Деникин

31.3.24

Дорогой Петр Владимирович,

Последнее письмо Ваше очень интересно. Оно свидетельствует, что все величие и самоуверенность моего преемника понесли значительный ущерб от фактического соприкосновения с делом государственного управления, верховного командования и политической борьбы. Что настроения и отношения общественности к армии — данные весьма переменчивые. Что власть есть тяжелый подвиг, а не предмет состязания. Видны также признаки как будто раскаяния. Когда раскаяние искренне, оно ведет к самоисправлению. В искренность не верю. Ну, да Бог с ним. Наши пути разошлись и никогда больше не сойдутся.

Получил Ваше письмо для Кутепова. Переотправил его в Сербию. Он пробыл у меня 2 дня.

То, что довелось услышать из разных источников, весьма компетентных, свидетельствует о кризисе,

переживаемом парижскими, русскими политиками: „общественное” движение — без общественности; „аполитичность”, окрашенная в яркие и притом крайние политические цвета; игра под суфлера, у которого от сквозняка раздуло невероятно правую щеку... Не будет добра.

Живем по-прежнему. Квартиры нет, старой — срок кончается, идет укладка, работу пока бросил. Все не ладится как-то. Бог даст, через год окончу свой труд — тогда будем более свободны, менее привязаны к месту.

Получили письмо жены? Мы оба беспокоимся о Вашем здоровье. Мне кажется, что Вы слишком легко относитесь к последствиям ранения. Необходимо основательно долечиться и поберечься. Дай Вам Бог всего лучшего.

Уважающий Вас

А. Деникин

31.3.24

Дорогой Петр Владимирович,

Вы, вероятно, не дали на чай швейцару „Savoy”, и он не принимает писем на Ваше имя: присланное (заказным от 31.3.24) было мне возвращено с припиской „выбыл неизвестно куда”. И в ту и в другую сторону вскрывались пч. /почтовые/ ящики венгерскими цензорами. Ну какое им дело до наших беженских русских дел!

Думаю, что и открытку мою постигла та же участь, и книгу, послан/ную/ Вам. Поэтому повторяю вкратце ее содержание. Я просил Вас зайти в „Musée de la guerre”, rue Colisée 39 и там найти в „Известиях”, не то московских, не то петроградских за 1918 г. (начало года), статьи о поимке ген. Д. Потоцкого, заключении его в Петропавл/овскую/

креп/ость/ и допросов его. Главное — его показания о Добровольческой армии. Будьте добры снять копии и мне переслать. Премного обяжете.

У нас — некоторая перемена. Нашли, наконец, готовую квартиру в том же Лелле. Домишко неважный, но уютный, поместительный, над озером, а главное, хороший сад. Надеюсь, что после трудов Вам захочется отдохнуть и Вы приедете погостить на 1-2 летних месяца. Летом будет у нас великолепно, а уж зимой — не хочу и думать — никто зимою в доме этом не жил.

Адрес просто: Balaton-Lelle.

До свидания. Всего наилучшего.

Уважающий Вас

А. Деникин

Буду очень благодарен ген. Шиллингу, если пришлет записку с описанием Крымских событий (январь—март 20 г.).

Паволоцкий* в своих объявлениях прибавил за три тома „Очерков” — 130 франков. Убийца!! Если будете в районе его магазина, разузнайте, пожалуйста, от себя лично, под видом покупателя, как он расценивает каждый том?

III том я Вам послал в двух экземплярах, один для Вас, другой для Бернацкого заказн/ой/ бандеролью. Неужели и книги постигла та же участь, что и письмо?

(Приписка на полях) Жена спрашивает, получили ли Вы нашу семейную карточку, которую она послала Вам заказным письмом.

* Парижский издатель первых томов „Очерков Русской Смуты”.

Май 1924

Получено в Париже 3.6.24

Дорогой Петр Владимирович,

Кутепов писал мне, что Вы решили побывать в Balaton-Lelle. Вот и прекрасно.

А пока опять затрудняю Вас своими поручениями. Я хотел бы только, чтобы Вы не преобременяли себя этим делом, а занялись им исподволь, походя, бывая у своих знакомых или беседуя с ними.

Ниже я приписал перечень портретов, которые я желал бы иметь для IV тома. Их много. Понятно, что всех не соберешь, но, что можно достать в Париже, достаньте, пожалуйста. В отношении некоторых лиц „чужого лагеря” желательно, чтобы мое имя не фигурировало. Некоторые портреты найдутся в любом старом иллюстрированном журнале, как, например, француз/ских/ генералов. Такой журнал можно купить за мой счет. Что найдете — присылать не стоит, а лучше привезти.

Имейте в виду, что у нас „гвоздь сезона”... Балатонское озеро и купанье. Следовательно, надо запастись купальн/ым/костюмом, можно просто — трусики.

Погрузился весь в работу.

По просьбе М. В. Б.-го /Бернацкого/ послал ему статью для однодневной (с благотв/орительной/ целью) газеты „Рус/ский/ инвалид”. Что, она вышла?

Желаю успеха и бодрости в труде.

До свидания.

Уважающий Вас

А. Деникин.

По поводу Туркула писал напрасно. Ответ от него получил.

Список портретов

Ген. Франше д'Эспре

Баширманская озеро и Кунашане. Селенг.
 Каменисто как глинастый Кунашане.
 Кассиановский; Восток хорошо переделан

Перезаказ кув в рабство.

На рассвете М. К. Д. со своим семейством
 с маминой Даш отъезжают. (с детьми, женой)
 разговаривает. Даш. Идешь? Что она будет?

Идешь уехать и с Дашей в Москву
 До свидания.

Даша, ах, ах, ах

На маминой маминой маминой
 сестры маминой. Восток

Список участников

Ген. Франк Д'Ренге

Ген. Берман

Ген. Манган, с отрядом, на войну

Лейтен. Франк " " " "

Маск. Копейкин с отрядом, на войну

Вал. Мухоморов

Копейкин - 2. Лоусон Копейкин

Франк - Ков. Дроздовский

Копейкин - Хов. Хованский

Мухоморов на маминой

Копейкин на войну

С. в. в. в. - Копейкин

Маск. Копейкин - Копейкин (мужик, Дроздовский)

Копейкин - Мухоморов

Товарищи:

✓ Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

Д. Мухоморов. Арт. Дроздовский

(X) не в

мечет.

Ген. Бертело

Ген. Манжен, б/ывший/ представ/итель/ на Юге

Лейт. Эрлиш, б/ывший/ представ/итель/ на Юге,
ныне член фр/анцузского/ парламента

Полк. Корбейль, б/ывший/ предст/авитель/ на Юге

Генералы: б/ывший/ главнок/омандующий/ Се-
в/ерным/ фронтом ген. Миллер*

б/ывший/ воен/ный/ представ/итель/
Щербачев

б/ывший/ к/омандующий/ в/ойска-
ми/ в Новороссии Шиллинг

ген. граф Келлер (покойный)

Б/ывший/ мин/истр/ ин/остранных/ дел Сазонов

Б/ывшие/ правители:

Крыма — Соломон Крым

Грузии — Ной Джордания

Азербайдж/ана/ — Хан Хойский

Председатели политич/еских/ организаций на Юге
Рос/сии/:

С/оюз/ Гос/ударственного/ объедин/ения/ — Кри-
вошеин

/Союз/ Нац/ионального/ Центра — Федоров (через
М. В. Бернацкого)

Союз Возрожд/ения/ — Мякотин

(*Маленькая приписка в начале письма сверху*) О
получении письма сообщите открыткой.

* не от меня.

11.7.24

Дорогой Петр Владимирович,

Завтра день Ваших именин, и мы с женой шлем
Вам искренние пожелания счастья. В чем оно — воп-
рос слишком индивидуальный, но, во всяком слу-
чае, дорога к нему лежит через Россию. Здесь, на

чужбине, всякое личное счастье будет отравлено тоской по Родине.

Не усвоил себе отчетливо, в чем состоит Ваша работа и дает /ли она/ возможность путем общения с французами изучить язык. Было бы непростительно не использовать в этом отношении Францию. С меня примера не берите.

Работа идет туго. К октябрю надеюсь закончить только первый выпуск IV тома; второй — к весне — это будет конец работы. Но неприспособленность к зиме нашей дачи выдвигает вопрос о переезде, не дожидаясь конца всего тома, т. е. в ноябре... В ближайшее время этот вопрос решим окончательно и тогда обратимся к содействию Вашему и М. В. Б. /Бернацкого/.

Рад Вашему приезду — и душевно, и эгоистически, надеюсь на некоторую помощь в работе /над/ „Очерками“. Наверно, найдете и для себя немало материала, так как важнейшая часть Карловацкого архива в несколько очередей перекочевала ко мне*.

Будьте добры купить и прислать мне третью книжку Милюкова — „История 2-й русской революции“, недавно вышедшую. Если Вас не затруднит, то рассчитаемся в Лель — пересылать валюту затруднительно.

Получили ли открытку относительно положения в Д/обровольческой Ар/мии/ быв/ших/ советских офицеров?

До свидания. Ждут Вас — Балатон, сливы, яблоки, виноград и радушие обитателей нашего дома.

Жена кланяется. Вернулась — с состоянием здоровья не лучшим, чем было.

Уважающий Вас

А. Деникин

* Часть архива Штаба Вооруженных сил Юга России, по распоряжению ген. Врангеля, была передана ген. Деникину для работы над „Очерками Русской Смуты“.

Дорогой Петр Владимирович,

Никаких перемен. Понемногу мерзнем. Устроил себе после окончания 1-го выпуска недельные каникулы, завтра они кончаются и принимаюсь вновь за 2-й, т. е. последний выпуск. Будьте добры при случае сообщить, какие у Вас есть материалы для последнего периода В/ооруженных/ с/ил/ Юга /России/.

Мне хотелось бы выяснить один вопрос. Когда состоялось назначение в дек/абре/ 18 г. ген. Вр/ангеля/ начальником казачьих формирований, в Екатеринодаре был ряд собраний его с казачьими начальниками. Обсуждался вопрос о разделении командования/ Добровольческой и Общеказачьей/ /армий/ и над ними безвластный главнокомандующий/. То же обсуждение повторилось в Пятигорске. Сведущие лица из Екатеринод/ара/ — Шкуро и Науменко. Если их когда-либо встретите, узнайте, пожалуйста, суть этих переговоров. При случае, если будет возможно, узнайте адрес последнего. Только, пожалуйста, чтобы это отнюдь не отнимало у Вас специально времени: можно сделать при случае.

Обещал прислать кое-что Шиллинг, но пока не удосужился.

Вопрос о переезде пока на весу. Сам по себе решен, но куда — еще не выяснено. Из Пар/ижа/ никаких сведений не имею. Не оставил этого „направления” принципиально, но слишком обидно „напрашиваться”. Черт бы их всех взял, Ваших варягов, конечно, большевизанствующих.

Желаю Вам всяческих успехов.

Уважающий Вас

А. Деникин

Конечно, хватить не могло, когда за одно право печатания франц/узских/ фотографий заплатили столько. Посылаю вторую порцию.

Дорогой Петр Владимирович,

Я приглашал Вас в Балатон-Лелль в предположении, что Вы не очень связаны с Парижем и с должностью и что Вашему здоровью полезен будет летний отдых, конечно, более продолжительный. Вы не сомневайтесь, конечно, в том, что Ваш приезд не только ни в чем не стеснил бы нас, но доставил бы нам большое удовольствие. Но ехать в такую даль на 2 недели положительно не стоит: и разорительно, и может осложнить вопрос с „местом”, которым, по-видимому, надо дорожить. Итак, придется отложить наше свидание до более благоприятной обстановки.

Теперь уже вопрос о переезде в ноябре отпал. Не так просто собраться нам всем домом, со всеми архивами... К тому же, надо предварительно заняться судьбою Яхонтовых, так как после переезда мы изменим режим, бросим хозяйство и поселимся в маленькой квартирке*. (Жене хозяйство в таких размерах, как сейчас, не по силам.) Поэтому-то мне и нужна виза заблаговременно, за несколько месяцев до выезда, чтобы все наладить.

1-й выпуск IV тома предполагаю окончить и сдать в печать к ноябрю. Поэтому будьте добры прислать собранные фотографии почтой, точно так же, как и посылку, о которой Вы говорили. Не знаю, сколько Вам должен за книгу Мил/юкова/, переснимки и т. д. Посылаю аванс в 100 б. фр. через банк.

Так как подготовительная работа для всего IV тома уже сделана, то составление 2-го выпуска пойдет скорее, и к весне предполагаю сдать в печать и его. Таким образом, весной я буду совершенно сво-

* Полковник Яхонтов с семьей жил у Деникиных. В „хозяйство” входил курятник, огород и проч.

боден и воспользуюсь отдыхом после 5-летн/его/ (к тому времени) тяжелого труда.

По некоторым Вашим фразам я вижу, что Вы не совсем верно представляете себе мой будущий образ жизни. Вариться в беженской политике я отнюдь не собираюсь. Ни в каких обществах, комитетах, собраниях я участвовать не буду. Несколько более культурные условия и небольшой круг друзей — вот то, чего мы лишены в нашей дыре, отсутствие чего тяготит и к чему мы стремимся.

М. В.* уже полгода держит рукопись моей статьи; не ладится у них „Рус/ский/ инв/алид/” и, на мой взгляд, никогда не выйдет. И отбирать неловко, т. к. она пожертвована „в пользу инвалидов”. А вопросы, затронутые в ней, не устарели и было бы своевременно дать ей ход.

Ну, будьте здоровы. При условиях Вашей жизни и работы претендовать на редкое получение писем не приходится. Но, если найдется свободная минута, не забывайте.

Всего наилучшего.

Уважающий Вас

А. Деникин

Жена кланяется.

(Приписка на полях) Будьте добры, вышлите мне „Посл/едние/ новости” (вернее, продолжить абонемент, адрес тот же) на окт/ябрь/, ноябрь и дек/абрь/ 24 года.

(На другой странице надпись на полях) Карточку Крыма я уже получил — от него.

* Речь идет о редакторе „Иллюстрированной России” Миронове.

22.9.24

Дорогой Петр Владимирович,

Будьте добры передать письмо и рукопись статьи Галлиполийцам (адреса ген. Репьева* не знаю).

Прошу Вас прислать мне шестую книжку сборника „На чужой стороне”, в которой есть статья Мякотина об одесском периоде деятельности „Союза Возрождения” (начало 19 года). Если в предыдущей книге есть воспоминания о предшествующем периоде (киевском) деятельности „С/ююза/ В/озрождения/”, то и ее. И напишите, сколько я Вам должен. Мне совестно Вас — рабочего человека — /затруднять/ своими поручениями, но, может быть, какой-либо незанятый знакомый выручит.

О визе никаких сведений не имею. Если М. М. Федоров/ имеет возможности и желание, пусть посодействует. Как я уже писал, вопрос требует выяснения сейчас же, чтобы к весне собраться.

Во всяком случае, зазимуюем здесь, в нашей летней даче с прогнившими полями и одиночными рамами. Как-нибудь перемаемся.

Всего наилучшего.

Привет от жены.

Уважающий Вас

А. Деникин

8.2.25

Дорогой Петр Владимирович,

Премного благодарен Вам за высылку материалов. Еще их не получил. По всем признакам, раньше лета 2-го выпуска не окончу, так что надеюсь еще

* Генерал-лейтенант Мих. Ив. Репьев. Председатель Общества Галлиполийцев, с 1927 г. помощник ген. Н. Н. Головина на Зарубежных Высших Военно-научных курсах.

до того времени увидаться с Вами и переговорить по некоторым сомнительным вопросам.

Вопрос о моем переезде окончательно не решен. От М. В. Бернацкого/ нет известий. С брюссельск/ими/ делами как-то все не ладится. Беда. Во всяком случае — выбор только из двух стран.

Ваши последние письма повергли нас в большое беспокойство. Так испытывать свое здоровье нельзя. Я уверен, что учреждение, в котором Вы служите, не будет иметь ничего против 2-недельного отпуска без сохранения содержания. Исходя из этого, я считаю себя вправе самым категорическим образом — надеюсь, безотказно — предложить Вам следующее: на этих днях Вам вышлют 530 бельгийских/ франков. Вы должны взять отпуск и провести его, если не в санатории, то по крайней мере в каком-нибудь загородном, деревенском Hôtel'e. Воздух, питание и полнейший отдых. Если по условиям Вашего здоровья необходимо санаторное лечение, требующее больших средств, напишите, спешусь кой с кем и как-нибудь устроим.

Ваше решение освободить себя от некоторых общественных обязанностей нельзя не приветствовать. Все это чрезмерно изнашивает нервы и к тому же, на мой взгляд, парижская политика русского беженства зашла в тупик.

Будьте добры при случае, спросить по телефону М. В. Бернацкого/, получил ли он мое письмо (прошлое, — потому и беспокоюсь) относительно виз, и как обстоит дело.

Берегите свое здоровье.

Всего наилучшего. Жена кланяется.

Уважающий Вас

А. Деникин

22.2.25

Дорогой

Павел Владимирович,

Получил письмо от члена редакции
из журнала "Вестник", где говорится о
политической группе. Вы представляете (по инструкции
Мухоморова) вниманию редакции материалы
по политическим, экономическим вопросам 11 дек. 1924. на
им. Виссариона (или в духе, в "Вестнике", когда
были два кандидата в члены "Вестника". Нам
не было известно, что мы должны ответить
написавшему и написать, добавив, о Седь
записи в "Вестнике", которая была
Кубань, а Мухоморову редакция должна по
факту из "Вестника".

Письмо получено, что сам он по своему
указанию и предложению прийти к нам и
разговорить. Ваш адрес мы узнали от Мухоморова.

Письмо, которое он и мы бы получили от
нашего журнала, и сейчас явилось это письмо
оказавшееся очень важным. Нам надо и сейчас же
по нему.

Ваше письмо, которое я сейчас получаю, очень

Клима и ее влияние на жизнь и здоровье населения
и в частности на жизнь в ее развитии, как
в быту и в труде, так и в отношении к природе
и к себе. Для этого необходимо иметь
данные. Для этого необходимо иметь

Для этой работы необходимо иметь
данные о состоянии здоровья населения
и о состоянии окружающей среды,
особенно в отношении к здоровью и к труду.
Особенно важно иметь

Материал Р. К. К.

27. 2. 25

Дорогой Петр Владимирович,

Получил письмо от некоего хорунжего из казаков Хотина, быв/шего/ ординарца у команд/ующе-го/ Донской армией. Он предлагает (по инстанции Шкуро) осветить „некоторые моменты” двух совеща-ний, имевших место 11 дек. 19 г. на ст. Ясинова-той (Сидорин, Врангель, Шатилов) и 26 дек. в Ба-тайске, „когда были все командармы и ждали Глав-нок/омандующего/”. Последнее обстоятельство ме-ня несколько смущает: насколько я помню, совеща-ние с Сидор/иным//Вранг/елем/ проходило в Рос-тове, после чего Вранг/ель/ уехал на Кубань, а Пок-ровский, кажется, совсем не приезжал из Царицына.

Хотин пишет, что сам он не слишком грамотен, и предлагает зайти к Вам и рассказать. Ваш адрес он узнал от Шкуро.

Быть может, он и мог бы осветить эти темные эпизоды, а может быть, это просто сведение счетов. Хотина я совершенно не знаю.

Вы знаете, что я пишу исторические очерки и не пишу, и не хочу памфлета. Поэтому и к самому Хо-тину, и к его рассказу, если его вызовете к себе, на-до отнестись с осторожностью. Ему непосредствен-но я не отвечаю. Адрес его: Asnières (Seine), 7, av. Tuvas.

Через две недели заканчиваю половину последне-го тома и начинаю разборку, сортировку дел, вооб-ще подготовку к переезду.

Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

(Письмо не датировано, написано в Брюсселе
между 27.2.25 и 18.5.25)

Дорогой Петр Владимирович,

Не мог Вам ответить на Ваш вопрос о времени
поезда через Париж, т. к. до последнего дня не
знал, каким маршрутом поеду. Выяснилось оконча-
тельно, что „союзники” транзитной визы не дают, и
поехал я через страну враждебную, отнесшуюся с
полной предупредительностью.

Что касается другой стороны вопроса — внутрен-
ней, то я в письме к Кутепову высказал свои сомне-
ния в целесообразности общения — весьма для ме-
ня радостной — с боевыми соратниками при усло-
вии подозрительности и ревности командования.

Живу пока у Шапронов, ищу квартиру.

И сборы, и переезд были очень тяжелы и измо-
тали.

Когда все уляжется, напишу. А еще лучше, если
бы Вы улучили свободное время и приехали в Брюс-
сель.

Всего Вам наилучшего.

Уважающий Вас

А. Деникин

Приписка рукой П. В. Колтышева:

Получено на Святой неделе

Пасха 1925 г., из Бельгии

Дорогой мой Петр Владимирович,

Опять Вы доставили нам много душевного беспо-
койствия своей внезапной болезнью и операцией.*
Кутепов обещал сообщить о результатах операции,
но не успел еще, как пришло Ваше письмо. Сердеч-
но радуюсь и желаю Вам поскорее разделаться со

*Операция аппендицита.

всеми недугами. Быть может, хоть теперь Вы найдете возможным отдохнуть как следует.

Мы все еще живем у Шапронов, не распаковывая чемоданы, и сбились с ног в маленькой квартире.

Как ни упирались, заставили поехать всем домом в провинцию, где встретили Пасху в колонии рудокопов-Корниловцев. Получили большое нравственное утешение среди своих соратников и, вместе с тем, бесконечно жаль их — ушедших под землю, в тяжкий труд, со своей тоской и надеждами.

Наверно, Ваше (два слова неразб. — Ред.) превратило мое посещение, хотя ни словом, ни звуком я не касался „внутренней политики”.

Вашему косяку (одно слово неразб. — Ред.) прибывает!

Едем в Париж из-за болезни жены Плющевского, предполагается стать там рабочими.

Эх-ма!

Жена Вам кланяется, я обнимаю. Поправляйтесь.
Любящий Вас

А. Деникин

(Письмо получено в июне 1925 г.
из Брюсселя, после Пасхи)

Дорогой Петр Владимирович,

И от Кутепова, и из Вашего послания не очень веселые вести о Вашем житье-бытье. Как бы ни складывались печально обстоятельства, Вы неправы, что работаете с таким непосильным напряжением: хуже будет — ведь так надолго Вас не хватит.

Так как мои убеждения не действуют, а приглашения тщетны, то больше по этому поводу писать не буду. Но приезду Вашему будем всегда рады — и я, и жена.

О нашем житье рассказал Вам, вероятно, А. П. Ку-

тепов. Идет оно довольно однообразно и не совсем целесообразно: хозяйственные заботы по-прежнему доминируют над писательством. Последнее время, в результате убийственного бельгийского климата (так же, вероятно, как у Вас), мы все, кроме деда, переболели, чередуясь ролями сиделки и больного.

Никакая политика непосредственно нас не затрагивает — в этом положительная сторона нашего отшельничества.

На празднике Корниловцев подводные камни были более или менее удачно обойдены, и Петр с Павлом* могут быть спокойны — их престижа не задели. Трудно это, особенно принимая во внимание, что офицерство не отдает себе ясного отчета о наших взаимоотношениях.

Я достал 500 бел/ьгийских/ фр/анков/ для семьи Вашего брата. Чек прилагаю.

Всего наилучшего. Будьте здоровы. Жена кланяется.

Уважающий Вас

А. Деникин

6.8.25

Дорогой Петр Владимирович,

Ваше продолжительное молчание я объяснял себе невеселым настроением, и письмо подтверждает это.

Все более и более убеждаюсь в преимуществах своего отшельнического житья, дающего мне возможность со спокойствием и некоторым скептицизмом смотреть со стороны на ту политическую кашу, которую варят наши именитые беженцы и люди

* Речь идет о ген. Петре Ник. Врангеле и Павле Ник. Шатилове.

глубоко идейные, и авантюристы, и политические маклеры. Но мешать никому не следует: пусть кто может и как может спасает Россию.

Решительно, однако, отклоняю упрек, который слышится иногда, в том, что я уклонился от активной работы. Я убежден, что составление „Оч. Рус. См.” есть также активная работа. Очистить белую идею от нанесенной грязи, отделить ясной гранью светлые от черных страниц, определить тянувшие нас ко дну гири, помочь своим соратникам осознать их подвиг и наши ошибки — в историческом масштабе, — все это, думаю, небесполезно и для настоящего, и для будущего.

Кстати, напишите при случае, как Вы отнеслись к гл. XI („Моральный облик армии. Черновые страницы”) *.

Работа идет тихо. С трудом. Устала голова. Окончание ее будет для меня большой радостью.

Жена умаялась по кухонному делу. Уедет недели на две в Германию „на предмет” растительно-живописной жизни. О таком скромном времяпровождении и я мечтаю, но — недосуг. 5 томов — и устроим „большой привал”.

А. П. ** не присылает обещанные записки по одному историческому эпизоду.

Прилагаю переписку Куровского. К сожалению, не помню его совсем. Детали его послужного списка, конечно, засвидетельствовать не могу. Но участие в наших походах (1-й и 2-й) мог бы, если бы получил подтверждение от достоверных лиц. Не откажите навести справку у кого-нибудь из Добровольцев-парижан и прислать мне вместе с перепиской. В ней приложена Алексеевская карточка его.

* См. „Очерки Русской Смуты”, т. IV, сс. 90-96.

** Ген. Александр Павлович Кутепов.

Рад Вашим успехам по автом. части и желаю Вам устроить свою жизнь по сердцу. А политическими тревоблениями не огорчайтесь — все это вздор.

Всего наилучшего.

Уважающий Вас

А. Деникин

Получено в конце 1925 г.
из Бельгии

Дорогой Петр Владимирович,

То, что я услышал о Вашем режиме и о Ваших беспечных взглядах на свою жизнь, меня глубоко огорчило. Сердечное отношение к Вам, в котором Вы, возможно, не сомневаетесь, побуждает меня поговорить об этом откровенно. Тем более, что возле Вас нет, по-видимому, никого, кто бы мог сдержать, поговорить, согреть. А если и есть, то — кажется мне — жгет, а не греет...

Судьба переселила и ломала нас всех. Многих сгубила. Не может быть ни настоящего душевного покоя, ни удовлетворения в положении беженца. Но Вы все же удачливее других справились с житейскими невзгодами. Что же? Нужно сломать и это относительное благополучие?

Угол — вместо хоть самого примитивного домашнего уюта... Богема — вместо жизни... Полное небрежение в отношении своего здоровья и запойная подчас работа... Бравирование своими силами и самой жизнью, которая так еще пригодится... Меня страшит, что в такой обстановке хороший, порядочный и способный человек искалечит тело, выхолощет душу, а то и вовсе сгорит.

Быть может, я сгущаю краски. Вам виднее.

Лично мне вообще не везет: люди, которых я ценил и к которым относился особенно хорошо, один

за другим поуходили из жизни, несколько их еще осталось, да и те норовят свихнуться с пути.

Есть несколько вопросов, но их я откладываю до другого раза. Сегодня не хочется говорить ни о чем другом.

Будьте здоровы.

Любящий Вас

А. Деникин

Мне кажется, что прежняя служба и прежний режим были все-таки здоровее. Не нужно ли к ним вернуться?

Жена посылает привет.

7.1.26

Что-то Вы, дорогой Петр Владимирович, вздумали праздновать католические Святки. Мы — по-старому. Желаю Вам, в свою очередь, в Новом Году — если не счастья, которое вот уже несколько лет как стало чем-то нереальным, книжной выдумкой, то, по крайней мере, душевного равновесия. С ним можно перетерпеть безвременье.

Писал Вам последний раз под впечатлением рассказа о нескольких Ваших парижских днях. И мой „осведомитель” и я исходим из одного искреннего решения поберечь Вас. Если мы взглянули бы на дело с большим пессимизмом, чем оно этого заслуживает, тем лучше. Во всяком случае — мое сердечное пожелание, чтобы Вы сохранили дух, силы, нервы для будущего, для жизни, которая придет на смену житию.

Доброе у Вас сердце. Вот и Плющевского*приглубили. Это хорошо. Он, бедняга, совсем приуныл.

* Ген. Плющевский — Плющик — ген.-квартирмейстер в штабе Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России в 1919 г.

Любопытно было, как у меня встретились случайно, мирно беседовали и даже спали в одной комнате два представителя противоположных политических взглядов. Особенно огорошило Астрова то обстоятельство, что Плющевский в качестве ротн/ого/ ком/андира/ (прич. к ген. штабу) гвард/ейского/ полка палил в 1905 г. Пресню*, а Астров в цивическом негодовании смотрел когда-то на это дело из-за угла. Однако провели время вполне мирно.

У том готов к печати, а издателя еще нет. Если увидите случайно Плющевского, скажите ему, пожалуйста, что с Сияльским разговаривать не стоит: если бы у меня была возможность бросить такую сумму (больше 10.000), то я бы не стал искать издателя, а 50% обложечной цены за комиссию — это несколько странно. До сих пор не я оплачивал издание, а получал аванс. Все по-старому, никаких перемен. Вдовенко ответил и, представьте себе, подтвердил в точности сказанное Шкурой!

Науменко тотчас же прислал краткую заметку, что в скором времени ответит по всем пунктам. Нельзя ли узнать адрес судейск. генерала Макаренко, который производил сенаторскую ревизию по поводу Одессы и Крыма. А также — где теперь находится адмирал Герасимов, бывший на юге начальником морского управления?

Теперь все периоды интриги освещены достаточно, кроме морской фронды в Севастополе. Если бы Потемкин захотел хоть на словах осветить эти события...

(На полях) Вообще я прошу Вас исполнять мои поручения только в мере возможности, при встречах у знакомых, в церкви и т. д., не расходуя на сей

* Речь идет о подавлении Московского вооруженного восстания в декабре 1905 г. л.-гв. Семеновским полком.

предмет времени и бензину. Ну, будьте здоровы, храни Вас Бог от злых людей и от встречных автомобилей.

Любящий Вас А. Д.

Если случайно увидите Богаевского, спросите, получил ли он мое письмо от 3-го дек. Что-то не отвечает.

2.2.26

Дорогой Петр Владимирович,

Благодарю Вас за пожелания и за почтенное намерение выпить за мое здоровье, если только это обстоятельство не повредит Вам, автомобилю и пассажиру.

Издателя все нет. В Праге не вышло. Жду теперь ответа из Берлина*. Если и там не выйдет, то придется подумать о частном финансировании издания Парижем, но, конечно, при условии, что это не вызовет нравственно-тяжелых обязательств.

Перемен никаких.

Жена кланяется.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Деникин

(На полях) Не окажется ли у кого-нибудь случайно фотографий генералов Коновалова (Донск.); Гусельщикова (Донск.); Писарева, Топоркова, Бабиева, Павличенко, Агаева (Терск.).

Кутепова просил подыскать мне группу старших Добровольцев конца 19, начала 20 годов.

* В том „Очерков Русской Смуты” вышел в издательстве „Медный Всадник” в 1926 г. в Берлине.

Дорогой,

Милый Владимир Петрович,

В Восточном
документы
2/2 января
1926
с Восточного
Архива

Короткие переписки по поводу, про-
блемы снайперской войны. Миссия наша была
получена. Но переписка была очень мно-
го - почти переписка сбалансирована. В кон-
це концов договорились о покупке дома, ка-
кору на строительство прилегающих улиц.
Всех освободили нас от контрибуции, и
нашли много вещей, которые в мире ко-
нечны в Восточном. Переговоры между Зуба
ре и, оставившись, будем носить с собой
там: Восточный Лев. Пер - советский проект.

Будем видеть, что и с. т. - как можно
официально можно предположить. Миссия, пере-
говори и переговоры с Восточным.

Миссия полностью закончена. Миссия
открыта для "Дороги" и "Восточного" - как бы
был бы миссия. Как это можно для миссии,
прислать - не знаю, думаю, что восточный
восточный миссия, восточный миссия
ки, миссия миссия...

Архивный в Восточный архив: Восточный, на
прилегающей работе, миссия, миссия...

Земельный архив, миссия, миссия, миссия...

Дорогой Петр Владимирович,

21.12.26

Скверные три недели прожили, проболев сообщая все трое. Теперь ничего, благополучно. Но пережитое¹ дало лишний толчок искать перемены обстановки. В конце концов договорились с хозяйкой дома, которая на сравнительно приличных условиях освобождает нас от контракта, и наняли маленькую квартиру в три комнаты в Ванв. Переезжаем туда 3 января* и, стало быть, будем почти соседями. Ванв — Леваллуа-Перре — совсем пустяки.

Были общ/ественные/ деят/ели/ и А. П.² — несколько оживили наше уединение. Теперь, впрочем, настроение бодрее вообще.

Стал немного заниматься. Написал статью для „Борьба за Россию” — появилась в воскресном номере. Кое-что пишу для американской прессы — не знаю, сумею ли овладеть вниманием людей чуждых, совершенно иной складки, иных интересов.

Скорблю о Вашей жизни: богема, напряженная работа, надрыв, болезни... Если бы Вы наконец подумали о себе и если занялись поисками иного дела — более спокойного и менее изнуряющего. Хотя бы сократив масштаб.

Я уверен, что это вполне возможно.

Надеюсь вскоре видиться с Вами — тогда поговорим побольше.

Пока до свидания. Жена кланяется.

— Любящий Вас

А. Деникин

* Елку будем праздновать по правосл/авному/ календарю.

¹ По приезде из Брюсселя ген. Деникин с семьей поселился в Фонтенбло. Вскоре он покинул это свое местожительство, после того как ген. Монкевиц, проведя у него в гостях вечер, бесследно исчез и, по слухам, оказался в Москве.

² А. П. Кутепов.

Получено в 1927 г.
из Вилльжюифа

Дорогой Петр Владимирович,

А. П. Кутепов сообщил мне о Вашей болезни, признаки которой, и по моему мнению и, что вернее, по мнению медицинского персонала больницы, весьма тревожны.

Я Вас прошу категорически приехать завтра, в субботу, к нам в русско-француз/ский/ лазарет и показаться врачу и, если понадобится, поступить туда на излечение.

Если в 10 час. Вас не будет, я поеду к Вам в Ле-валлуа-Перре.

Думаю, что Вы не захотите отнестись с невниманием к моему совету.

Любящий Вас

А. Деникин

22.6.27

Капбретон, Villa Henry Marc

Дорогой Петр Владимирович,

Наслаждаемся Югом. Мне и Маришке приносит большую пользу, жене никакой — пока самочувствие, пожалуй, еще хуже, чем раньше.

К Вам опять просьба жены: прислать 4 кило гречневой крупы и зуб/ной/ эликсир: „S. K.” (из русской аптеки). Кажется, посылка может быть весом только в 2 кило?

Несмотря на Ваше скептическое описание возможности поездки в Капбретон, я все же рассчитываю, что Вы хоть на 2-3 недели приедете к нам для полного отдыха. Ведь это было бы очень полезно для Вашего организма.

Немного пишу. Пока раскачиваюсь. По-прежнему

видимся часто с писателем¹; он еще не раскачался вовсе: как человека нервного последние политические события его придавили.

Будьте здоровы. Обнимаю.

Ваш

А. Деникин

Капбретон

Приписка рукою П. В. Колтышева:

Получено летом 1927 г.

Дорогой Петр Владимирович,

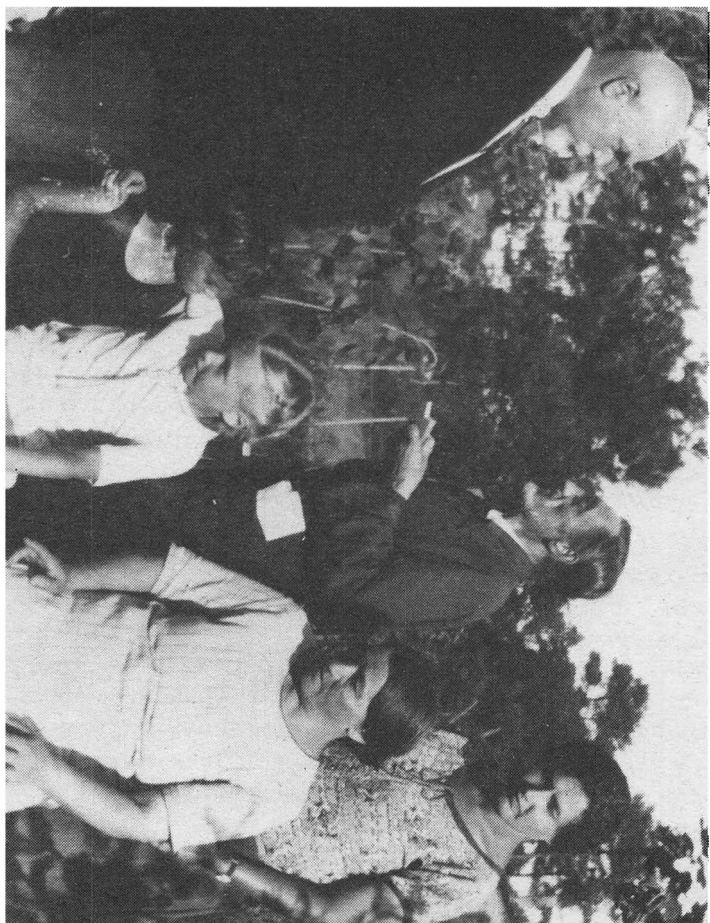
Еще раз благодарю Вас за хлопоты и помощь. Вопрос о сдаче квартиры /имеет/ для меня серьезное значение. Каков состав семьи* Нольдена? Много там народу? При случае справьтесь, пожалуйста, о судьбе ящика (книжного), который консьержка хотела перехватить. Консьержке полезно платить по 25 фр. в месяц.

Как мне ни совестно, но о судьбе Яковлева ничего не помню. Если он Генерального Штаба, то еще (одно слово неразб. — Ред.) так как капитан Яковлев был некогда моим учителем в Киевск/ом/ Училище. Быть может, напишете Трухачеву?

Живем в благорастворении и в отшельничестве. Видимся только со Шмелевыми. В последние дни у них непосильные переживания, в связи с появлением в Капбретоне отца Ивушки. Утешаем, как можем. Дамы мои прибавили чуть-чуть в весе; я же потерял за месяц 9 1/2 рус. фунтов. Порядочно. Чувствую себя лучше, чем зимой. Это результат климата, режима и садовой работы — весьма солидной. Довольно много пишу, иногда, в свободное

*Сказали ли ему, что в ноябре мы возвращаемся?

¹ Речь идет об И. С. Шмелеве.



Летом, 1926 или — 1927 г. в Капбретоне (Ланды).
Стоят: ген. А. И. Деникин, И. С. Шмелев, К. В. Деникина.
Сидят: Ив Жантийом, Марина Деникина, О. А. Шмелева.

Публикуемая фотография любезно предоставлена редакции Ивом Жантийомом, внучатым племянником И. С. Шмелева.

от садовых работ время, запоем. Надеюсь к осени выпустить сборник¹.

Что за игра в газетах с вопросом о здоровье? Какие козни кует нам „друг“? Какое настроение Добровольчества?

Не хватает мне Вас, не только для дружеской беседы, но и для восприятия быта беженского, в котором Вы горите и который я пытаюсь изобразить.

Берегите себя, дай Вам Бог удачи. Все Вам кланяются.

Любящий Вас

А. Деникин

15.8.27
Капбретон

Дорогой Петр Владимирович,

Научился наконец печатать на машинке и по сему случаю выстукиваю Вам письмо.

Живем по-прежнему — среди удивительного благорастворения, тихо, в работе. Меня давно удовлетворяют пределы нашего сада и дальними прогулками пользуюсь редко. Для моциона вожусь по хозяйству и копаюсь в саду.

Недавно нагрянул к нам неожиданно с визитом принц Ольденбургский, живущий возле Биаррица. Вероятно, непривычной показалась ему наша убогая обстановка... Произвел приятное впечатление. Всем домом у него завтракали.

Часто видимся со Шмелевыми; познакомились с Бальмонтом. Видите, как густо представлена в Капбретоне литература ... Собирается сюда недельки на две и Михаил Владимирович.

¹ Речь идет о сборнике „Офицеры“, изд. в 1928 г. в Париже.

Сдал издательству сборник рассказов под общим заглавием „Офицеры”. Жизнь и быт нашего офицерства от начала революции и по сие время включительно. Кое-что Вам знакомо, другое ново. Пришлось коснуться чуть и „политики” — без нее не обходится беженская жизнь... Чуть-чуть затронул и Вас лично...

Ваш эпизод с чемоданчиком меня не удивил. В одном из моих рассказов по аналогичному поводу есть диалог:

— Не знаю. Но только — баста! Другой раз дурака валять не буду.

— Не верьте, господа, и в следующий раз так же сделаете. Я его знаю...

Из Парижа новости доходят слабо; в частности, не ориентирован, каковы дальнейшие последствия провокаций большевиков. Между прочим, русская газета „Сегодня” сообщает, что Монкевиц* живет в Москве, на службе у большевиков для осведомления по „белогвардейским делам”. Темная история...

Приезжайте отдохнуть.

Будьте здоровы. Все наши кланяются.

Любящий Вас

А. Деникин

1927 г., Капбретон

Дорогой Петр Владимирович,

Вчера не успел распаковать вещи и потому не ответил насчет иоду. Рецепт такой:

(Следует рецепт. — Ред.)

Принимать две недели каждого месяца по 1 пилюле, 3 раза в день, после еды.

* Ген. Монкевиц, начальник разведывательного отдела Генерального штаба накануне войны 1914 г. Участвовал в Белом Движении.

Perles Riedine Astier — 1 boite.

Что касается Б/ернацкого/, то лучше первый раз Вам написать от себя по вопросу о личности виновника и об обстоятельствах Константинопольской драмы*. Моральные соучастники убийц?

Негодяи-большевики убивают теперь не стесняясь, плюя в глаза Европы. Дошли до предела... Писатель горит, волнуется страшно. И ведь сколько еще у них „в садках” — в „чека” и на воле людей, которых ждет смерть!..

Поганые (два слова неразб. — Ред.) и отравляют воздух „в мировом масштабе”. И не видно что-то хоть сколько-нибудь серьезного движения (активного) против большевиков.

Ну, всего наилучшего, не жгите своей жизни.

Обнимаю.

От всех привет.

Любящий Вас

А. Деникин

25.2.28

Дорогой Петр Владимирович,

Сегодня заходил ко мне Г.** и, волнуясь, сообщил, что Хольмс/он/ потребовал, чтобы он председательствовал на собрании, так как в противном случае представители командов/ания/ не могут быть.

Я облегчил его трудное положение, осведомив, что меня не будет.

Читали статьи „Последних Новостей”?

* Речь идет об убийстве ген. Романовского, в Константинополе, в апреле 1920 г.

**Расшифровать не удалось.

Вообще — работают с разных сторон, согласно лозунгу „прохвосты всех партий, объединяйтесь”.

Привет.

Любящий Вас

А. Деникин

Ваш „pneumatique” получен.

20.3.28

Дорогой Петр Владимирович,

Когда будете в районе Fg. St. Honoré, будьте добры взять для меня с женой билеты (два) на концерт Жарова (пятница). Ценою около 15 франков билет. Говорят, что нужно брать заблаговременно.

Письмо Ваше получил. Данные не расходятся с тем, что Вы говорите.

Привет.

Любящий Вас

А. Деникин

7.8.28, Капбретон

Дорогой Петр Владимирович,

Дайте, пожалуйста, справку по прилагаемому письму.

В жизни нашей ни перемен, ни потрясений.

Жене не лучше, если только не хуже, и ни один доктор, ни одна система не могут ее поставить на ноги. Мы с Машкой в порядке.

По случаю жары, хотя и умеряемой значительно ветерком с моря, пишется туго. Но материал большой, „мыслей” много и желание есть. Поэтому нагоним.

Уехав из Парижа, имею весьма слабое осведомление, поэтому дать для Ваших надобностей полити-

ческую ориентировку затрудняюсь. Что касается Драгомировского письма, Вы знаете хорошо, как стесняет меня все, имеющее характер саморекламы. Черт с ними — пускай клеветают. Когда-нибудь станет явным таящееся под спудом.

Прочел Штейфона. Признаться, не задело даже. Вот уж поистине кругозор не дальше полкового командира. „Регулярство” он сводит к одному существованию „цветных”* войск...

Драгомиров пишет возмущенно про его книгу и про рецензии на нее Мариушкина и проф. Белова. Последний, кажется — в „Нов/ом/ Вр/емени/”. Не читал, да, признаться, и мало интересно.

Точно так же не читал еще записок Врангеля, прочел только рецензии Словцова в „Посл/едних/ Нов/остях/”, откуда ознакомился со своей собственной характеристикой, данной покойным бароном. На характеристики, определения, умозаключения — конечно, отвечать не буду, но если найду вранье в фактах, кратко где-нибудь отвечу.

У нас гостят русские бойскауты, под водительством полк. ген. штаба Богдановича**. Он называет себя Вашим другом. Что это за личность? Обладает, между прочим, весьма большой осведомленностью в вопросах „внутренней политики”, взаимоотношений между персонами, жизни и быта зарубежного воинства. Между прочим, он сообщил мне следующий эпизод, который я оставляю под сомнением, ввиду его экстравагантности.

* Так называли именные полки Добровольческой Армии: Корниловский, Марковский, Алексеевский, Дроздовский.

** Полковник П. Н. Богданович — один из руководителей Русских Скаутов. Автор ряда исторических работ, в том числе весьма обстоятельного труда: „Вторжение в Восточную Пруссию в Августе 1914 г. Воспоминания офицера генерального штаба Армии ген. Самсонова”, Буэнос-Айрес, 1964.

Богданович уверяет, что приказом Врангеля он исключен из русского генерального штаба за то, что не считал себя подчиненным барону и не вошел в состав Обще-воинского союза. Мало того, уверяет, что в том же самом приказе и за то же был якобы исключен... ген. Юденич. Не можете ли Вы перелистать приказы и справиться?

Самочувствие (духовное) плохое. Отдыхаешь над страницами прошлого, своего пережитого...

О Вашей жизни правды Вы никогда не скажете. Бог Вас знает — не надрываете ли Вы зря работой, или же наоборот, не ездите ли Вы с поднятым счетчиком, „выгодно” катая друзей и собутыльников. Пишите побольше и пооткровеннее. Вы знаете мое искреннее расположение к Вам и то обстоятельство, что все, касающееся Вас, мне близко и интересно.

Будьте здоровы.

Шлем привет.

Любящий Вас

А. Деникин

2.10.28, Капбретон

Дорогой Петр Владимирович,

Давно от Вас нет вестей — все ли благополучно?

Еще лето, но уже холодные вечера, а грибов все нет как нет: засуха, не идут дожди.

У нас, в столице, все еще бурлят. Доходят до меня слухи, что и Шкуро усиленно самоочистывается и собирает Добровольцев на предмет отторжения Украины от России; но что сборы пока небольшие. Агитаторы якобы развивают большую деятельность и уверяют публику, что на „чествовании” будут присутствовать Деникин и Кутепов!! Следующий выход на сцену будет, очевидно, Махно, которого поляки также весьма протезируют.

Вообще, компания!

Весьма огорчен был известием о самоубийстве Манштейна. В чем дело?

Посылаю письмо отцу покойного.

Присылаю три карточки. Две Вам не безызвестны. Третья — Добровольцы — оркестр бродячего цирка, снявшиеся с нами. Быть может, узнаете кого-нибудь из своих.

Всего наилучшего. Дайте же о себе весть.

Любящий Вас

А. Деникин

Привет от всех нас.

Приписка рукой П. В. Колтышева:

Январь 1929 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Мой издатель обеспокоен судьбой первых (авторских) экземпляров „Офицеров”.

Дело вот в чем:

1) В продажу книга будет выпущена только 21 января.

2) С газетами он ведет переговоры о помещении рецензий к будущему (не предстоящему) четвергу, т. е. 19-го января. Если газеты получают книгу не одновременно, а какая-нибудь предупредит, то остальные из чувства соревнования не станут печатать отзыва и тем провалят книгу.

Таким образом, если экземпляр книги, имеющейся у Вас или Харжевского, попадется случайно лицу, причастному к журналистике, и тот в той или другой форме преждевременно о ней напишет, то издатель считает, что это погубит дело.

Прошу поэтому Вас и Харжевского до 19-го января никому книги для чтения не давать. Если Хар-

жевский уже уехал, то, пожалуйста, сообщите ему письменно.

Любящий Вас

А. Деникин

20.2.29

Дорогой Петр Владимирович,

Так как я рассчитывал видеть Вас у себя в пятницу 22-го, то, имея в виду Ваши дела (отправку, наконец, рукописей), предлагаю такую комбинацию: заходите в 6 1/2 ч. вечера.

Мы с Вами закусим и к 9-ти час. поедem вместе на концерт Жарова, который прислал 2 билета.

Привет.

Ваш

А. Деникин

24.6.29, Аллемон (Изер)

Дорогой Петр Владимирович,

Доехали без приключений.

Обстановка оказалась лучше, чем мы ожидали. Природа, воздух превосходны. „Подножный корм” — в виде земляники, черники, малины и белых грибов. Сейчас едим землянику и грибы. В прочем — уютно и дешево.

Непременно приезжайте. Устроим Вас без труда. А в смысле отдыха и восстановления сил здесь, пожалуй, лучше, чем в Ландах.

За работу еще не принимался: книги еще не пришли.

Наконец разрешилось „Возрождение”. В статье Чебышева, корректной по форме, много яду, перердежек и непонимания военного быта.

А в общем всякий вычитывает, что хочет. Минор

(одно слово неразб. — Ред.) нашел в словах моих сожаления, что его не повесили, а Чебышев — чрезмерное благоволение к Минору.

Получил приглашение на обед — письмом Хольм-сена. Ответил, что живу далеко и принять участия не могу.

Вообще неделя прошла тихо, мирно, без всяких „потрясений”.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Деникин

10.7.29, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

От души поздравляю Вас с днем Ангела и желаю умиротворения душевного и здоровья телесного.

Уж очень хорошо здесь. Настолько, что решили поселиться и в будущем году. Наш квартирный контракт кончается 1-го апреля, дублировать квартирную плату нет смысла. Вещи — на хранение, сами — 1 апреля будущего года в Аллемон.

Ждем Вас непременно. Когда Ваш отпуск?

Работа идет тихо. Но схем еще не закончил. И притом, для цельности изложения придется в нескольких словах сказать о Крымском переходе и о рассеянии...

Жизни Вашей — Парижской и, в частности, „армейской” — как-то здесь не чувствуется вовсе. Двумерные газеты как-то вовсе не отражают ее, хотя получаем, благодаря доброжелателям. Газет много — пять названий.

Пока есть еще один отголосок на „Ст. арм.”*

* 1 том „Старая армия” вышел в изд. „Родник” в Париже в 1929 г.

— обида Кондзеровского, который издательство, вскользя, указание мелких чинов Ген. Шт. отнес к непорядкам своего периода. А было это до него.

Тренируемся в горном хождении. Предположена некая, конечно, экскурсия до самых снежных вершин, где — игра природы — есть озеро с теплой водой, в котором искупаемся.

Но Вы не бойтесь, что Вас затянем по горам. Есть и такие дороги, которые совершенно незаметно, полого выводят в высь.

Будьте здоровы.

Обнимаю.

Любящий Вас

А. Деникин

1.8.29, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,
Все по-прежнему тихо и мирно.

Горные прогулки доводят иногда до большого утомления, но тянет опять. Во всяком случае с „генеральской полнотою” постепенно расстаюсь.

Пишется средне. Много времени отняло окончание „Белой Борьбы” (иллюстр.) и подготовка схем, которых в общем набралось 31... Как подумаешь, сколько месяцев тяжелой и трудной чисто технической работы пришлось мне лично затратить при составлении 5 томов „Оч. Рус. См.” — работы, которую можно было поручить любому грамотному офицеру. Да так уж обстоятельства складывались.

Написал поэтому пока только один очерк („Национ. вопрос в армии”) из шести предположенных для 2-й книги „Старой армии”.

Откликов больше не было. Послали мне сюда №№ „За свободу”, варшавской газеты, в которой ген. Симанский печатает ряд очерков по поводу

„Старой армии”, но они до меня не дошли. Что касается Кондр., то и мне он писал недостаточно выдержанно. Но, принимая во внимание его тяжелую и, может быть, роковую болезнь, я ответил ему хорошим письмом. Он желал реабилитации и я предоставил его усмотрению огласить нашу переписку как ему угодно.

Слышу, что китайский инцидент вызвал большое волнение в нашем воинстве и, как всегда, необоснованные надежды. Хоть теперь, быть может, поймут — до какой степени никто не хочет воевать: ни Китай, ни Совдепия, ни великие державы, которые наперегонки друг перед другом усердствовали в миротворчестве.

Нет у России друзей — таких, чтобы бескорыстно рискнули своим внутренним положением и, тем более, кровопусканием.

Из этого не следует, что неизбежное не случится.

Но, очевидно, все произойдет несколько иначе, чем думают у нас и чем пичкают воинство органы „национальной мысли”.

Быть может, в Ваш адрес будет писать некто Этель — офицер, которому я посылал по изд./ательской/ цене книги, так не удивляйтесь: из Польши писать на мое имя самые безобидные вещи не вполне, оказывается, безопасно.

Теперь — вернусь к Вашим каникулам в Аллемоне. Мы усердно приглашали Вас, имея в виду одну „дислокационную” комбинацию, которая не выходит. К сожалению, мы в этом году не самостоятельны ни в отношении квартиры, ни в смысле довольствия. А зная Вашу чрезмерную щепетильность, можно себе представить, к чему это приведет. Понести большие расходы на дорогу, на гостиницу — это не имеет никакого смысла, тем более на короткий срок. Как нам ни хотелось бы Вас повидать, но при-

дется отложить поездку до будущего года, когда мы устроимся здесь по-хорошему и сможем принять Вас по-настоящему, как своего гостя.

Что для меня это лишение, говорить не приходится: давненько не приходилось беседовать по душам...

Дай Вам Бог шоферской удачи и душевного спокойствия.

Любящий Вас

А. Деникин

1929 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Приезжаем в пятницу 2-го ноября утром, в 7 ч. 50 мин. Надеемся Вас встретить.

Я, по-видимому, спокойнее отношусь к мутной войне, которая по временам подвигается. В сущности, ничего не изменилось. Вели интригу раньше, ведут и теперь.

Если им нужно или хочется возвести проходимца на пьедестал. Пусть! Я же лично буду в стороне, так же, как и раньше. Когда-нибудь увидят слепые.

Впрочем, об этом поговорим при свидании.

Всего наилучшего.

Люб. Вас

А. Деникин

15.4.30, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

Несмотря на „15 мест багажа“, все обошлось благополучно. Со средствами передвижения также вышло очень удачно, так что прибыли в „пункт квартирования“ раньше положенного — в 10 ч. утра.

Ко всем прочим обстоятельствам прибавились и

чудный теплый день, и радушие Машино и всех окрестных кумушек.

Словом, предзнаменования вполне благоприятные.

Со второго дня пошел снег и идет до настоящего момента. Идет и та ет. Грязь и сырость. Но это нас не обескураживает, случайность, а скалы, снегом покрытые, радуют глаз.

Пока идет распаковка, за работу еще не принимался, т. е. за литературную. Наша самоотверженная труженица Машка пошла уже сегодня в школу, где внушает умиление учительнице и почтение сверстницам — своим „парижским” жужжанием. Пошла охотно.

Днем топим кухню и сидим рядом в столовой, ночью топим в спальне. Выходит ничего.

Относительно „подножного корма” еще открытие: на днях появятся превкусные грибы-сморчки; покушаем и посушим; в конце месяца — большой рыбный лов; займемся и этим делом.

Расходов здесь, конечно, много меньше, чем в Париже. Утешительно. Форма одежды — весьма невзыскательно. Словом — жить легче.

Вот и все, кажется, внешние обстоятельства нашей жизни. А о внутренних — в другой раз.

Полон теплого чувства к Вам за все

Со Светлым Праздником Христос Воскресе!

Любящий Вас

А. Деникин

Получил уведомление, подписанное „за предателя” первопоходников — Дончиковым — о панихиде по Корнилове. Оказалось, что почерк и адрес на обороте конверта совершенно те же, что и на том конверте, в котором мне прислали раньше циркуляр мифического „Центра”.

11.5.30, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

Недавно редактор „Иллюстрированной России” прислал мне письмо, адресованное на Ванв, прося зайти к нему по делу редакции, имеющему, вместе с тем, общественное значение. Я ответил, что живу в деревне и потому прошу сообщить мне о деле письмом. Ответа не последовало, вероятно, по недоразумению.

Не сомневаюсь, что вопрос идет о статье покойного барона Врангеля, помещенной на страницах журнала, я составил „Ответ”*, который прошу Вас отвезти в редакцию для напечатания.

Необходимое условие, чтобы напечатано было все полностью без каких-либо сокращений и изменений. Кроме того, я желал бы:

1) чтобы статья не сопровождалась никакими пояснениями, имеющими рекламный характер в отношении меня;

2) чтобы не было пометки о воспроизведении перепечатки;

3) чтобы помещена была статья не более, чем в трех номерах журнала, придерживаясь разделения ее мною на три главы;

4) если возможно, чтобы Вы просмотрели корректуру.

Попросите выслать мне по 4 экземпляра журнала — тех, где будет напечатана моя статья.

Будьте здоровы.

Любящий Вас

А. Деникин

* „Ответ” ген. А. И. Деникина был опубликован в „Иллюстрированной России” в №№ 22, 23 и 24 за 1930 год.

Дорогой Петр Владимирович,

Уже несколько дней подряд идет дождь, и от этого как-то тоскливо на душе. Думаем о Вас и, кажется, что и Вам не веселее, несмотря на наружное спокойствие Ваших писем. В особенности — после следующих одна за другой тяжелых семейных утрат. Разделяем Вашу печаль.

Хотелось бы написать несколько бодрых слов, да не выходит...

Подождем лучших дней.

Английскую книгу затянули — еще не готова корректура. 2-й том „Стар/ой/ арм/ии/” окончу к исходу месяца, а дальше?

Хочу сделать перерыв, чтобы записать все то, что не мог или не хотел записать на страницы „Очер. Рус. См.”, а также эпизоды; факты и разговоры беженского периода. А то многое интересное может пропасть „для потомства”.

Жаль, что Вы не записали впечатления Крыма и Галлиполи.

Крепко жму Вашу руку.

Любящий Вас

А. Деникин

Пожалуйста:

При случае, скажите редакции, чтобы не вздумали помещать моего портрета или какой-нибудь фотографии.

19.5.30

Дорогой Петр Владимирович,

1) У меня в V (пятом) томе говорится о трех группах (корпусах): П., К. и У.*, а в выноске, что корпус К.** был усилен кубанской дивизией П.*** и бригадой Говорущенко, — стр. 81.

Быть может, можно справиться у лиц нейтральных: если бы мое изложение было не точно, то в корректуре можно прибавить: „корпуса генералов П., К. (с приданной дивизией Ш.***), Улагая”... Я не хотел бы быть несправедливым даже в отношении прохвоста.

2) Относительно М. М.**** можно добавить: „который не только стойко удерживал „безнадежный” фронт, но и сам перешел в наступление”.

Конечно, если все это не поздно. Если же начали печатать II и III часть, то и так сойдет.

Привет.

Ваш

А. Д.

Сердечное спасибо за хлопоты.

1.6.30

Дорогой Петр Владимирович,

Редакция так и не прислала письма. Ввиду того, что печатание растянулось и читатели позабыли детали „Воспоминаний”, абзац в последней части об Агапееве — мало вразумителен. Полагал бы изъять

* Ген. Покровский в районе Батайска, ген. Кутепов — западнее Торговой и ген. Улагай — к югу от Дивного.

** Корпус Кутепова.

*** Дивизия ген. Шатилова.

**** Ген. Май-Маевский.

его вовсе, оставив только свидетельство Хольмана. Об Агапееве с большими подробностями оставим для другого раза, если понадобится. Исправление сделайте, конечно, если это возможно технически, и по обстановке, если это удобно.

Живем по-старому. Началась наконец бурная весна; с ней и настроение несколько улучшилось.

Пишется хорошо — в смысле, конечно, продуктивности работы. Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Д.

15.6.30

Дорогой Петр Владимирович,

Спасибо Вам за хлопоты по моему „делу“. Они не только отняли у Вас много времени, но и испортили много крови. Как будто Вы не знали, что одна компания — шантажная, другая торгашеская!?

Никакого письма от редакции не получил. Не получил и гонорара. А когда получу его, то верну им.

Между прочим, получил приглашение от „Возрождения“ на праздник „пятилетия“. Ответил, что не могу быть, так как живу вне Парижа. Они мой ответ представили, как приветствие...

Через 3 дня будет готова корректура английской книги. Следовательно, в конце месяца или в самом начале июля выпустят. Некоторый просвет. Со 2-м „Ст/арой/ арм/ии/“ пока ничего не решено. Сейчас записываю дополнения к пяти томам „Очерков“.

Н. Н. /Стогов/ пеняет, что мало пишу? Скажите ему при случае, что настроение не „писательное“¹, а „чувства всегда одинаковы“. Последнее относится и к Вам. Да посоветуйте ему составить себе на

¹ Так в тексте.

всякий случай архивчик, подобно тому, как, уходя, поступили благоразумные Овощи².

В переписке — ничего „потрясающего”*. Только нет человека среди моих корреспондентов, который не жаловался бы на тяжкое житье. Последнее время это особенно часто бывает.

Получил я сведения, что М.В.Б./ернацкий/ тяжело заболел. Написал ему. Получил очень сердечный ответ. По-видимому, он с трудом выкарабкивается. Сейчас в деревне, отдыхает.

Н. И. А/стров/ в Париже, собирается к нам.

Да, читали, что Родичев — помните — тот, что при Вас приходил ко мне, скоропостижно помер? Дядя его — известный трибун Ф. Родичев — благодарит за племянника... Судьба...

Очень жалею Вас, поправьте свои обстоятельства настолько, чтобы иметь возможность бросить на время работу и приехать отдохнуть к нам.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Деникин

* Из Чехии вот только пишут: „Наши здешние генералы переходят пачками в чешское подданство”.

А Ваш чешский соратник отличается!..

30.6.30, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

Вот жизнь. В глуши, в тиши. На православном языке в течение двух с половиной месяцев беседую исключительно с домочадцами. А с аборигенами сего прелестного края обмениваюсь только привет-

² Прозвище ген. А. С. Лукомского.

ствиями. Но скучаю лишь от отсутствия друзей. Ни города, ни „общества” мне не надо.

Чтобы не сглазить — отошли от меня все мои немощи. Шестичасовая прогулка по горным кручам вызывает лишь временное здоровое утомление.

„Старую армию” послал пока Коварскому — для совета. Получил наконец корректуру английского издания „Белая армия”. По наружному виду — прилично. Перевод — не знаю его литературных достоинств, но весьма близок к подлиннику. Можете себе представить, как воздух насыщен мистическими вредоносными флюидами! Просматривая английскую мою книгу, не понимая языка, нашел случайно одну только опечатку. Но какую! После абзаца, в котором я привожу мнение покойника¹ об отводе Добр/овольческой/ Армии в Крым и мотивы о невозможности и преступности такого отхода, в книге напечатано: „Войскам ген. Врангеля я отдал приказ ... прикрывать Крым...” А надо было — „Войскам ген. Шиллинга...”

Книга выйдет вскоре, и приличный аванс обеспечен.

Пока продолжаю делать записи для будущего.

Как хорошо, что епархиальный съезд пришелся ко времени указа об увольнении Евлогия. Не сомневаюсь, что ответ будет авторитетно и решительным отказом. Иначе, не миновать бы сугубой церковной смуты.

Все публичные выступления М.² имеют такой несерьезный характер, что производят впечатление, будто бы кто-то злоумышленно дергает его за веревочку „на предмет” провала...

¹ Речь идет о ген. П. Н. Врангеле.

² Вероятно, речь идет о П. Н. Милюкове.

С.³ напрасно жалуется. Послал ему большое письмо (заказ.), в котором мягко, но без утайки разбивал его иллюзии относительно плана, им напечатанного, объединения эмиграции. Теперь, после ряда ложных шагов М. еще более ясна неосуществимость его. Вообще, несмотря на ограниченность нашего несчастного знакомого, его политика мирного сожительства с разномыслящими была много умнее...

Ш.⁴ — забыл поздравить с днем Ангела. О белградской компании ничего не знаю. Узнаете, сообщите.

Маркова вышла замуж. Мы — не в переписке. Последний ее адрес был: 258, Шоссе д'Иксел — Брюссель.

К Вам опять покорнейшая просьба, во второй своей части несколько затруднительная. За иконы дают так мало, что невозможно продать. Для приличия той даме, у которой они были, жена написала, что вообще пока от продажи воздержимся и что Вы заедете за ними и возьмете их. Они уезжают 15-го июля и поэтому необходимо взять иконы до этого времени. Уж будьте так добры*. Теперь вопрос о хранении их. Если Вы считаете неудобным хранить их у себя, то отвезите, пожалуйста, на хранение к французам Скриб, у которых Вы уже раз были.

Адрес их Вам известен. Скриб, между прочим, писали, что были бы рады Вас видеть и побеседовать с Вами.

Не теряю надежды видеть Вас в нашей деревушке.

* Это сестра Парамонова. Фамилия ее Резанова. Адрес: 106, рю де ля Тур.

³ Ген. Н. Н. Стогов.

⁴ Ген. Шиллинг.

Желаю душевного спокойствия и щедрых американцев в качестве клиентов.

Любящий Вас

А. Деникин

11.7.30, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

От души поздравляю с днем Ангела. А желать? Кроме конца скитаний, душевный покой — превыше всего.

Об обстоятельствах нашей жизни Вам подробно сообщили мои присные*. Ничего нового за последние дни. Окончательно решение не возвращаться в Париж. В данное время гадаем все — север (одно слово неразб. — Ред.) или юг (одно слово неразб. — Ред.) комбинация с Лелявс/кими/: а с юга вести не веселые. Лелявский встречает большие затруднения в постановке хозяйства; кроме того, судьба шутит: из 117 цыплят подошло 104!..

Пока живем еще на свободе — между литерат/урной/ работой и собиранием подножного корма. К осени такая благодать кончится.

Редакция не прислала ничего, а жаль, лишила меня удовольствия вернуть обратно присланное...

То, что печатала газета о сосредоточии кирилловской агитации в Америке, у Сикорского, — правда. К сожалению, втянули в это дело Георгия Корнилова, которого из-за имени, конечно, посадили членом правления. Недостойно памяти отца. Думал, что выправится юнец, да теперь потерял надежду: от дансингов — в политиканство.

Поездка М.М.** в Америку не принесла ничего серьезного.

*Так в тексте.

**М. М. Федоров.

Тихо, мирно, хотя появились какие-то дачники, но почти не встречаем их.

Н.Н.* всполошился насчет писем. При случае передайте ему, что „два письма заказ. порядком” — это письмо мое и жены, оба в одном конверте. Так что все в порядке. Все, да не все... Не находите ли Вы некую причинную связь между последним распоряжением касательно „переезда” Н.Н.* и нашей перепиской?

Обнимаю Вас.

Любящий Вас

А. Деникин

21.7.30, Аллемон

Спасибо за письмо, дорогой Петр Владимирович, Помимо сердечности — замечательно яркое освещение положения. Напишу потом. Теперь же только по двум срочным вопросам:

1) И в мыслях не имейте, что приезд Ваш и С/тогова/ чем-нибудь может стеснить нас. Ждем с радостью. А места всем хватит.

2) Сбили Вы меня упоминанием, что скоро именины М. В. Б/ернацкого/. Взглянул в календарь — действительно 25 июня есть Михаил. Но ведь его именины, кажется, 19-го сентября? В прошлом году я в этом вопросе оскандалился, так в этом уж никак нельзя попасть впросак. Поэтому посылаю на всякий случай поздравительную открытку. Если действительно 25-го его именины, пошлите же пакет (одно слово неразб. — Ред.), если же нет — порвите. Только, ради Бога, чтобы знать наверняка. А то он весьма внимательный, а я все путаю.

Обнимаю.

Любящий Вас

А. Деникин

*Ген. Н. Н. Стогов.

Дорогой Петр Владимирович,

Прежде всего по поводу усложняемого Вами всемерно вопроса о приезде... Вы знаете, как нам приятно будет присутствие друзей. Места действительно хватает всем, все заранее обдуманно и распределено, причем комнаты, предназначенные для Вас и для С/тоговых/, не заняты и не будут заняты никем. В отношении хозяйственных распоряжков, жена входит в сношение с А.Д.* к обоюдному, надеюсь, удовлетворению. Что касается времени приезда, Вы должны сообразоваться со своей работой, но и для нас и для Вас лучше было бы не откладывать его, а собраться в середине августа, когда погода лучше, и „подножный корм” — в большом наличии. Об устройстве вне нашего дома и не думайте — недопустимо.

О возвращении в Париж и думать не приходится, так как при всяких условиях жизнь в деревне обходится в полтора раза дешевле, чем там. Вопрос — в масштабе хозяйства: из осторожности, придется, конечно, начать с маленького „соседства” и для меня предпочтительнее „сожителству”.

Действительно, что-то странное в эпизоде с Ш/тейфоном/ и М/иллером/ — вероятно, выдуманном. Но относительно всяких интриг „компаний” — стоит ли принимать так близко к сердцу!?

К/усонский/ прислал мне статью Штейфона о взятии Харькова. Это было начало, в котором Ш/тейфон/ одобрительно отзывался о моей стратегии до Харьковского периода, а в следующем номере обещал разделку после-харьковского. Следующих статей я не получал, да, по правде сказать, и не особенно интересуюсь, ибо обвинения известны: — широко

* Анна Дмитриевна Стогова, жена генерала.

кие фронты, разброска, отсутствие „кулаков” и „резервов”, „закреплений” и проч. Я думаю, что и Врангель, и его последователи отлично разбирались в особенностях гражданской войны, но порочили нашу стратегию в целях агитации.

Что за события у Корниловцев в Бельгии — не знаю.

„Овощи”* еще при жизни Н.Н.** усиленно проводили Г/ерасимова/ в помощь К.*** Это жандармский генерал. К.*** в свое время навел у меня справку, и я дал ему выписку из донесения шульгинской „Азбуки”, сохранившейся в архиве. Отзыв отрицательный: оппортунизм, игра с гетманом и самостийниками и т. д.

Живем без перемен. Приехавшие к нам барышни оказались очень тихими и скромными и не нарушают ничем установившегося порядка нашей жизни. Погода последнее время подгуляла, да теперь разгулялась опять.

Ждем с нетерпением приезда друзей.

Любящий Вас

А. Деникин

6.3.30, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

Ввиду скорого свидания, пишу только об обстоятельствах, касающихся Вашего приезда.

Что взять с собой? Привезите две простыни, которые, кажется, у Вас есть. Какую-нибудь полотняную, что ли, шляпу, простые эспадрильи на веревочной подошве и 1-2 рубахи с открытым воротом. Все

* Прозвище ген. А. С. Лукомского.

** Вел. кн. Николай Николаевич.

*** Речь идет о ген. Кутепове.

— самое дешевое — вы увидите, какая тут глушь и как люди просто одеваются. Для С/тоговых/ простыни будут.

Выезд. Оказывается, летом раз или два в неделю идет на юг поезд „де ваканс”. Справки о нем помещены в плакатах на Лионском вокзале, там же указан адрес той городской кассы, где надо брать билеты и когда именно — заблаговременно. Сведения об этих поездах помещаются и в газете „Ле Темп”. Разница — огромная: билет в Гренобль — туда и обратно — действителен до ноября, обходится одному пассажиру на сто франков дешевле нормального. Поезд скорого типа, с пересадкой в Шамбери, невдалеке от Гренобля.

Так как охотников до этих поездов много, то Вам надлежит тотчас по получении этого письма навести справки на Лионском вокзале и в соответственной кассе, с тем, чтобы самому или А. Д. зайти в кассу пораньше, в первый же день, в который открывается продажа билетов на соответствующий поезд. Таким порядком приехали Гронские, сэкономив на четырех — 400 франков. Если С/того/вы предполагают впоследствии проехать далее на юг, то и в этом случае эта комбинация будет выгодна.

Маршрут. Итак — билеты до Гренобля. Приезжаете утром. На вокзальной площади справа на углу у кафе стоит автобус, направляющийся в Бург д'Уазан. На нем ехать до Рошетайе. В последнем — пересест в автобус, идущий в Фондери. А тут мы встретим Вас — поэтому телеграфируйте о дне приезда. Если бы из Рошетайе автобус уже ушел, то придется вызвать из Фондери по телефону автомобиль, предварительно сговорившись — сколько возьмет за троих (по 3-4 франка).

Если бы справки о поезде „де ваканс” Вас затруднили, то Гронский дал нам адрес той дамы, которая

для всех их брала билеты. У ней можно справиться по телефону: Мария Владимировна Ивашкевич: Телефон Трокадеро 16-79 (после 8 ч. вечера).

Кажется, все.

Жду с нетерпением. От наших — привет.

Любящий Вас

А. Деникин

Сведения о поезде сообщите немедленно С/того-вы/-м, чтобы они не взяли нормальных билетов на проезд.

19.9.30

Дорогой Петр Владимирович,

После двух-трех дождливых дней — опять солнечное, теплое лето. Наши гости уехали вчера, и теперь можно взяться за запущенную корреспонденцию, потом за писание.

По целому ряду соображений, отчасти по настоянию друзей, к южной комбинации мы несколько охладели. Ищем фермочку невдалеке от Парижа. Обстановка несколько прояснилась: английское издательство прислало наконец чек, который я послал для размена в Париж; надеюсь, что Вам вручили уже мой долг. Вообще же Ваше беспокойство имеет преувеличенные основания, а Ваши заботы, идущие от сердца, меня угнетают — простите. Не будем больше говорить об этом. Что касается какого-либо отклика Походников „Яссы—Дон”, то оно было бы возможно только в случае легализации этого содружества начальством и подчинения его непосредственно председателю, Миллеру. Ибо обращение, аналогичное тому, которое сделали Первопоходники, направленное по адресу другого провокатора, Ш., нецелесообразно и противно. Письмо в газету ми-

лого Арона*, конечно, надо оставить под спудом. Он писал мне о переписке с Вами. На днях и я ему отвечу.

Несмотря на мое уединение, не оставляют меня в покое. Кроме известного Вам предложения из Америки, получил послание из левых кругов на тему о добром отношении к Обще-воинскому Союзу и недоверия к „военным авторитетам, слишком связанным с идеей реставрации”... И, наконец, с крайнего правого фланга — блеф весьма крупного масштаба. Посылаю Вам эту небезынтересную переписку, которую верните по ознакомлению. В чем тут дело — еще неясно. Только ли шутка для выяснения — сколько имеется в эмиграции корыстных и глупых людей, или действительно нашлись такие шальные американцы, которые готовы субсидировать предприятие, в котором ничего не понимают.

Я, конечно, не ответил и отвечать не буду. Но думаю, что найдутся простаки, которые „во исполнение приказа” начнут сноситься со мной. Неприятно еще то, что в этом балагане мое имя связали с такими, которые хорошо бы забыть... Во всяком случае, если этот блеф выйдет наружу и пойдут толки, можете заявить, что к этой мистификации я не имею никакого отношения и что именем моим злоупотребили.

Вообще под покровом летнего затишья и апатии в глубине беженства что-то бурлит. Невзирая, например, на явный провал попыток объединения, оказывается, в Париже происходят встречи на нейтральной почве за завтраком представителей таких разнородных элементов — от умеренно-правых (не „возрожденцев”) через „Последние Новости” до

* Арон — полковник, участник Первого Кубанского похода.

„Дней” включительно, — которые еще недавно бы ли бы немыслимы. Пока оказалось, что сидеть за одним столом и мирно беседовать они могут. Посмотрим, что будет дальше.

Сейчас почта принесла мне приятный сюрприз: английский издатель заинтересован „Офицерами”...

Все здоровы и шлют Вам сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

Приложение:

- 1) мое письмо
- 2) письмо жены
- 3) письмо Арона
- 4) выдержки из письма Строгонова
- 5) „Наказ”
- 6) „Приказ”

Бедному Стогову достается со всех сторон за его неосторожное выступление. При случае, передайте ему мой искренний привет.

20.9.30

Дорогой Петр Владимирович,
Живем по-прежнему.

Те документы, которые я Вам послал, пока не подлежат оглашению, но ничего не имею против, если Вы ознакомите с ними доверительно Н. Н. /Стогова/, если признаете нужным.

Вы обратили внимание, как (одно слово неразб. — Ред.) передернул (одно слово неразб. — Ред.) фразу из „Врагов” — заблудились... Фразу, относившуюся к прежней революционной деятельности офицера...

Пожалуйста, вышлите нам „Об. Дело”.

Среди приятных новостей из Лондона и неприятная: оказывается, английский фискс, в виде налога, берет 20% гонорара. Ну и грабители!

Солнце чередуется с дождем. Значит, будут опять грибы.

„Возрождение” пока приходит нормально, так что Вы дублируете.

Сердечный привет от всех.

Любящий Вас

А. Деникин

Indications de 138 TELEGRAMME PORTES ET TELEGRAPHES

ORIGINE 71 RUE VALLIER LEVALLOISPERRET SEINE

LE PERRET DES PERRET. Le nom des délégués en résidence à ce poste
Le nom de la personne qui a été chargée de recevoir les télégrammes

À DÉCHIRER

MAINTENON EETS 921 9 25 1715

ENVOYEZ CINQ CENTS FRANCS = ANTON

LEVALLOISPERRET SEINE

75

ТЕЛЕГРАММА

Колтышев

71, Рю Валлье

Леваллуа-Перре, Сена

ПРИШЛИТЕ ПЯТЬСОТ ФРАНКОВ

Подпись: Антон

26.10.30, Сен-Пиа

Дорогой Петр Владимирович,

Побеспокоил Вас своей телеграммой, потому что просчитался, и до получения денег образовался „просвет” дня на четыре.

Простите за беспокойство.

Устройство жития нашего оказалось много серьезнее, чем ожидали. Но об этом — когда приедете.

Обнимаю.

Ваш

А. Деникин

1.12.30, Сен-Пиа

Дорогой Петр Владимирович,

Посылаю Вам полный текст речи (2 экзмп.). Распространяйте как хотите. Может быть, и в самом деле нужно будет для Добровольчества. Но печатать нигде. В „Русс. Инвалиде”, хотя и допустимо, но ведь выйдет он только через месяц. Не стоит.

Положение без перемен. Размежевались окончательно, так что точек соприкосновения мало. Дальнейшие перспективы зависят от успешности переговоров с „Архивом”*. Составляю опись материала.

Ждем Вас с нетерпением. Тогда и поговорим. Если С/того/-вы собираются, то не отговаривайте. В тесноте — да не в обиде. Только чтобы не было противного дождя в этот день...

Обнимаю

А. Деникин

* Речь идет о Русском Зарубежном Историческом Архиве в Праге, куда ген. А. И. Деникин и передал большую часть своего архива.

Дорогой Петр Владимирович,

Искренне желаем скорейшего окончания Вашей болезни, в которой и мы, т. е., вернее, Ваша поездка к нам отчасти виновата.

Конечно, надо вернуться к старому способу, т. е. положить маленькое сбережение в сб/ерегательную/кас/су/.

В воскресенье не увидимся. Я послал свой привет Ж.С.* письменно через Боуфала.

Напишите — сколько мы Вам должны за исполненные прошлый раз поручения. Обстановка, перспективы и настроение — без перемен.

Любящий Вас

А. Деникин

Дорогой Петр Владимирович,

Вчера, получив „Общее Дело”, послал В. Л. Бурцеву письмо, копию которого на всякий случай посылаю Вам. При оказии можете ознакомить с ним доверительно Н. Н. /Стогова/.

Надеюсь, Вы опровергли слух об „объединении” с М.**

Посылаю Вам письмо Шаблинского. Быть может, Вы знаете Ерофеева, или можете узнать о нем. Я такого не помню. По миновании надобности благоволите письмо вернуть.

Общее объединение трех групп Первопоходников, конечно, желательно, как и все, клонящееся к взаимной спайке.

* „Железные стрелки” — ветераны 4-й „Железной” дивизии, — которой командовал ген. А. И. Деникин в 1914—1915 гг.

** Видимо, речь идет о предполагаемом снятии квартиры совместно с С. П. Мельгуновым.

Жена получила уже письмо от Ев.*

Наших землеробов зовут: Лел/явский/ — Анатолий Михайлович; жену его Мария Яковлевна; Дж/аксон/ — Павел Александрович; жена — Ксения Захаровна; Соф.** — Борис Александрович.

Очень Вы нас огорчили известием, что до сих пор не поправились. Послушайтесь доброго совета: не начинайте работы, пока не вылечитесь окончательно. Лучше проесть сбережения, чем расстроить окончательно свое здоровье.

Приезду Вашему всегда рады.

В нашей жизни — никаких перемен. Тем не менее, не дожидаясь выяснения материальных перспектив, ищем новое жилье. Архив*** ответил согласием, но желает знать мою оценку; я же предоставляю это им. Боятся переплатить...

Настроение соответствует неопределенности положения.

От души желаю Вам — поскорее стать на ноги в прямом и переносном смысле этого понятия.

Любящий Вас

А. Деникин

15.1.31

Копия
ДОВЕРИТЕЛЬНО

Многоуважаемый Владимир Львович***,

Только что прочел № 9 „Общего Дела”. Искренне Вам признателен за доброе слово, сказанное в газете, по моему адресу.

* Евгения Васильевна Неводовская, жена генерала.

** Вероятно, Б. А. Бек-Софиев.

*** Русский Зарубежный Исторический Архив в Праге.

**** В. Л. Бурцев, известный общественный деятель, редактор „Общего Дела”.

Но, скажу откровенно, оно меня смутило — тем противопоставлением, которое — и по смыслу, и даже по расположению статей („Ген/ерал/ А/нтон/ И/ванович/ Д/еникин/” вслед за „ОВС” /Обще-воинский Союз/) — сделано между мною и „вожаками армии”.

Дело в том, что Обще-воинский Союз, благодаря целому ряду обстоятельств, в своей внутренней жизни переживает кризис и всякое новое потрясение может нанести этой организации непоправимый по своим последствиям удар.

Поэтому, любя своих соратников и оберегая Союз, я стремлюсь всемерно к тому, чтобы не создавать затруднений верхам и не вносить смущения в среду воинства.

Надеюсь, что Вы не откажете принять в дальнейшем во внимание такое мое отношение к Союзу.

Искренне Вас уважающий

А. Деникин

Без даты; видимо, начало 1931 г.
(примечание П. В. Колтышева)

Дорогой Петр Владимирович,

В ближайшую пятницу ждем Вас непременно. Привезите с собой купальный костюм, — кажется, он у Вас есть со времен Каэбретона. Искупаемся в речке.

Пять недель без дождя — поливка заедает.

Послал в субботу „Луцкий прорыв”, да беда — 15 стран/иц/ выпали; не знаю — справятся ли, а делить я не согласен; продолжение через две недели — это ни к чему.

В одном из номеров „Русского голоса”, как Вы знаете, появилось начало статей — Сергиевского на тему „Луцкий прорыв”. Прошло введение, а в сле-

дующем номере продолжения не оказалось. Должно быть, все те же обезьяньи шутки.

Получил предложение помещать статьи в одной газете приемлемой — об этом при свидании.

Обнимаю. Любящий Вас

А. Д.

31.5.31

Получение датировано П. В. Колтышевым
(Maintenon), вблизи г. Шартра

Дорогой Петр Владимирович,

Очень Вы нас огорчили, не приехав и в эту пятницу. Ждали... Все ли благополучно?

Благодарю Вас за хлопоты по „Луцку” — много я Вам вообще доставляю хлопот своими поручениями и отнимаю время.

Стало дышать легче: первый вопрос икон* разрешен благополучно; второй уже решен принципиально.

Если сегодня, в пятницу, вы не брали „repos”, то, может быть, в ближайший день заедете?

Ждем.

Обнимаю, любящий Вас

А. Деникин

Примечание П. В. Колтышева:
лето 1931 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Ваш приезд вышел так неудачно, что я не успел и поговорить с Вами по душам и поблагодарить Вас

* Речь идет об иконах, поднесенных ген. А. И. Деникину различными городами в годы гражданской войны в знак благодарности за освобождение.

за то сердечное и искреннее отношение, которое Вы проявляете неизменно к нашей семье и ко мне в частности, за Ваше горение, стоящее Вам столько душевных волнений.

Не успел и рассчитаться.

Совершенно необходимо, чтобы Вы приехали к нам на отдых; подберем историч/еский/ материал, и будете себе работать в покое.

Мне прислали посл/едний/ № „Воли России”, в котором помещена статья-письмо в редакцию Ив. Наживина¹, в гнусных, возмутительных выражениях поносящего русскую церковь и отрекающегося „торжественно” от православия. И журнал подлый* — напечатал, „не беря на себя ответственность” и т. д.

Неужели его (И. Н-на¹) игра с русскими офицерами продолжается, и они, и после этого выпада, сносятся с ним?..

Статья взволновала меня и подтверждает наихудшие мои предположения — в чем Вы сомневались...

Два дня были отличные -- сегодня собрались на весь день в лес, но с утра моросит.

Будьте здоровы. Обнимаю. Любящий Вас

А. Д.

* С.-ры интернационалисты, „родственники” Чернова...

4.9.31

Дорогой Петр Владимирович,

Бесконечные, нудные дожди, давящие на настроение, и без того не важное. Все — без перемен.

Б/ернацкие/ уехали, С/тоговвы/ пока здесь.

¹ И. Наживин — писатель.

Если не читали, то непременно прочтите шедшие в „Посл/едних/ Нов/остях/” „записки англ. шпиона Рейли”. Они уже закончены. Много новых черт, углубляющих и усиливающих виновность неосмотрительных людей, вовлеченных в „Трест”.

В ближайшую пятницу надеемся Вас видеть.

Скучно, когда долго не приезжаете.

Решим вопрос об отпуске?

Все кланяются.

Любящий Вас

А. Д.

Примечание П. В. Колтышева:

окт. 31 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Благодарю Вас за справки. При случае, не спешно, сообщите адрес Чекунова* (хотя в ближайшие дни, вероятно, адреса врачей будут отпечатаны в общем списке, в газете). Если представится еще раз случай беседовать с Л/елявским/, то от себя скажите, что нисколько не стеснит, только комната у соседей, где помещаем наших гостей, не топлена.

К Киевлянам приехать не смогу. Посылаю письменное поздравление**.

С М/иллером/, конечно, благополучно. А вот Ев.***пригласить надо попросту, без „заездов” Тишки****. Быть может, видных людей из мира художников, артистов!.. Кроме, конечно, Ш/аляпи/-на... Шм/елеву/ напишу.

*Чекунов — доктор медицины.

** Речь идет о юбилее Киевского Военного Училища, из которого вышел в офицеры А. И. Деникин.

*** Митрополит Евлогий.

**** Капитан Тихон Александрович Аместитов. Состоял при митр. Евлогии.

Посылаю Вам одновременно сборник „5 лет”, в статьях которого, может быть, найдется материал для „молодого”*. Сохраните и по миновании надобности верните.

Кусон/ский/ весьма обязательно прислал мне разысканный им адрес Максимовича, который оказался офицером из Праги.

Положение без перемен. Ничего нового.

Чудные теплые летние дни и очень холодные ночи.

Лечитесь, дорогой Петр Владимирович, хорошенько.

Обнимаю. Любящий Вас

А. Д.

Без даты

(Примечание П. В. Колтышева:

Конец октября или начало ноября 1931 г.

К 14-й годовщине Белого Движения)

Дорогой Петр Владимирович,

Вы, вероятно, не будете объявлять „тем”, но на всякий случай, в изменение сказанного раньше, моя тема — „Лик Белого Движения”.

Пошлите объявления всем четверым участникам квартета Кедрова.

Если нужно будет собраться „ораторам”, то я могу приехать дня за два до банкета.

У нас — без перемен. По ночам морозцы до 4-х градусов, так что из „карпатской” фуфайки не вылажу.

Сергиевскому ответил.

До свидания. Не знаю — близкого ли, т. е., заедете ли в пятницу?

Обнимаю.

А. Д.

*Новый тогда Бюллетень Союза Добровольцев.

Дорогой Петр Владимирович,

Получил письмо от И. С. Ш/мелева/. Он отказывается выступать по болезни. Думаю, что действительно ему было бы не под силу.

Быть может, пригласить писателя Зайцева для „Души народа”, а еще лучше — на тему: „Советская власть и народ”. Это восполнило бы отчасти пробел, вызванный уклонением Д-ва*.

Как знаете. Вам виднее. По существу — если никто не „заболеет”, то и так будет ладно.

Приеду утром, как обычно, в день Вашего отдыха.

Просвет есть, но весьма условный — путем займа. А когда отдать, неизвестно. Это больше всего и угнетает.

В остальном — без перемен.

Наши кланяются.

Любящий Вас

А. Д.

11.11.31

Дорогой Петр Владимирович,

Наши письма разминулись. В моем — были ответы на оба Ваши. Но на случай, если бы мое письмо затерялось, повторяю вновь.

1) „Душу русского народа”, по-видимому, надо исключить. Быть может, „Отношение народа к советской власти”. Или не скажет ли писатель Зайцев, если не об этом, то по наименованию К.** — не стоит.

2) В крайнем случае и перечисленных в газете лиц достаточно, имея в виду, что во второй части будут не просто тосты, а речи...

* Расшифровать не удалось.

** Проф. А. В. Карташев.

3) Я приеду в день Вашего отдыха, как обычно утром (около 11-ти часов).

4) Очень боюсь, что затея Первопоходников может в финансовом отношении выйти боком. Будьте как можно скромнее во всех отношениях.

До свидания.

Любящий Вас

А. Д.

20.11.31

(копия)

Многоуважаемый Евгений Карлович*,

Со статьей В. Л. Бурцева я ознакомился только из присланной Вами вырезки. Мои слова и мои писания не в первый раз перетолковываются по-своему — и слева, и справа.

В статье г. Бурцева приведена выдержка из моего очерка „В Академии”. Изложение мое вполне определено, основано на общеизвестных фактах и никакой решительно связи с заявлениями г. Бурцева не имеет.

Поэтому толкование им моих слов является чисто субъективным.

Уважающий Вас

А. Деникин

17.1.32

Дорогой Петр Владимирович,

Спасибо Вам за поздравление. И мы Вам шлем сердечные пожелания, — как человеку, нам наиболее близкому.

* Ген. Е. К. Миллер, возглавивший Обще-Воинский Союз после похищения ген. Кутепова в 1930 г. и погибший так же, как и ген. Кутепов, в 1938 г.

Ничего нового и интересного в личной жизни. Много работаем физически и постоянно лечимся оба. У меня левая рука заживает, а к основному лечению правой — еще не приступил, ибо только что получил, с большим запозданием, лекарства через Ш-ва*. Какие-то сложные впрыскивания — не знаю, справятся ли с ними монашки.

К писанию еще не приступил. Хотел взяться за Венгерский поход Железной дивизии, но присланные З/айцовы/м** материалы оказались совершенно недостаточными. Придется когда-нибудь поработать в Венсене. Получил снова предложение от „Сегодня“, но, ввиду бывшего инцидента, не ответил. Из Норвегии пока еще ничего положительного не сообщали.

Бриггс пишет, между прочим, что полк/овник/Звегинцев принял английское подданство, очевидно, „не надеясь на возвращение в Россию“. Бриггс ему помог в этом деле. Эпизод — маловажный. Но, если принять во внимание те сведения, которые у нас были раньше, мотивы можно истолковать и по-другому...

Из праздничной переписки известный интерес представляют письма П. С.,*** который весьма тепло, хотя и очень путанно, объясняет свои многолетние, неосуществленные намерения повидаться... И письмо Н. Н. /Стогова/ — сплошная агитация в пользу „Е. В.“.**** Я обычно уклонялся от споров с ним на эту тему, но на сей раз не мог не указать на два из ряда вон выходящие обстоятельства: брошюру Стерлигова и новогоднее обращение „Е. В.“, в кото-

* Шилов — капитан Марковского полка.

** Зайцов — полковник, помощник ген. Н. Н. Головина.

*** Речь идет о ген. Петре Семеновиче Махрове.

**** „Его Величество“ — Вел. Кн. Кирилл Владимирович.

ром последний советское „строительство” приписывает „порыву русского народа”... Чёрт знает, что такое!

Другой Н. Н.* не подает слуху. Быть может, обиделся за резкий мой отзыв о Муратове, с которым он, по-видимому, единомышленен.

Вообще интересно, по каким сложным водоразделам пошли течения в области Дальневосточного вопроса: „Посл/едние/ Нов/ости/”, „Дни” и Кирилловцы стоят на точке зрения безотносительных государственных интересов России; РОВС и „Возрождение” — валят „хоть с чертом” и „какой угодно ценой”. Взгляд не-легитимистов, что правее „Возрождения”, мне не известен. Но замечательно, что первая группа явно уклоняется от постановки вопроса: как быть все же в случае столкновения японско-советского... Тот вопрос, на который я ответил определенно в речи 15.11.31 („Но все эти обстоятельства не только не должны приостанавливать борьбу нашу против советской власти, но, наоборот, заострить ее до крайнего напряжения...” и т. д.).

Собрался было приступить в этом месяце к частичной уплате своего долга, но неожиданно получил требование уплаты за два года за хранение архива... Тяжело и совестно.

Вы знаете, что Вашему посещению мы всегда рады. Что же касается официальной стороны вопроса, то „ангельские дни” совмещаются в один — 24 января стар/ого/ стиля, т. е. на субботу 6 февр/аля/ нов/ого/ ст/иля/.

Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

*Н. Н. Чебышев — сотрудник „Возрождения”.

Дорогой Петр Владимирович,

Телеграмму мою (утвердит). Вы уже, наверное, получили. В материалах Н. Н.* почти ничего нового не оказалось. Интересны более в качестве ориентировки относительно существующих течений. Но ничего не поделаешь.

На лекцию Г/оловина/ (2-ю) не имеет смысла ходить, так как эти лекции являются буквальным сокращенным содержанием его книги.

Желательно устроить сообщение в субботу 26-го. Раньше не смогу.

Подтверждаю то, о чем мы согласились раньше: Вам никакого участия в организации принимать нельзя. Если „Б. П.”** не возьмет на себя, придумаем другую комбинацию.

К работе физической, хотя и несколько сокращенной, прибавилась напряженная умственная. Не легко.

Будьте здоровы. Любящий Вас

А. Д.

Примечание П. В. Колтышева:
начало апреля 1932 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Хоть тяжело было в нашей обстановке работать и много было привходящих огорчений, но нравственное удовлетворение я получил. Вопрос сдвинут с мертвой точки и преступная теория „какой угодно ценой” и „хоть с чертом”, по-видимому, будет общественным мнением отброшена начисто. Те отзывы, которые я слышал или о которых мне писали,

*Ген. Стогов.

** Не расшифровано.

свидетельствуют, что поворот свершился, и глубокий. Слышал такое мнение: „Все от начала до конца абсолютная истина, но, по дипломатическим соображениям, следовало ли?“ Эти люди не хотят понять, что „клочками земли“ престиж эмиграции уронен настолько — не только среди национ/альных/ элементов сов/етской/ России, но и в глазах японцев, — что необходимо было поднять его.

Ваши сведения о буре у „вторых“ оказались совершенно правильными. Получил письмо от Саблина — чрезвычайно теплое, в котором он с горечью рассказывает о своей переписке с нами по аналогичному вопросу. Если он пожелает опубликовать свой „запрос“ им, на который не получил ответа, то это будет большая сенсация.

М. В. /Бернацкий/ спрашивает меня спешно — очевидно, в связи с „бурей“, — посылался ли текст и когда именно „Возр/ождению/“? Ответил: „Текст был в распоряжении П. В. к утру вторника. Я просил его отдать текст в распоряжение всех газет, которые о том попросят, независимо от их направления и отношения ко мне. Но предлагать текст „Возр/ождению/“ после появившейся во вторничном номере передовицы, и в особенности — статьи господина Чебышева, было невозможно”.

Никаких гонорариев* ни откуда не получил. Все по-старому, т. е. плохо. Составил очерк для Америки, на основании речи. Необходимо бороться против начинающегося там советофильского течения и смешения двух чуждых понятий „Россия“ и „СССР”.

Привет. Обнимаю.

Любящий Вас

А. Д.

*Так в тексте.

Примечание П. В. Колтышева:
начало апреля 1932 г.

Дорогой Петр Владимирович,

В статьях „Возрождение” — сплошная передержка и провокация. Спорить с ними унинительно. Отвечать им не буду. А когда появится настоятельная в том необходимость, то скажу крепко...

Напрасно Вы, голубчик, беспокоились присылать. Я кой-как устроился. Еще не получил, но тотчас же верну.

Обратили ли внимание, как неприятно использовали в „Рос/сии/ и Сл/авянстве/” факт передачи им текста речи по их же настоятельной просьбе: „...выступлений ген. Д., полный аутентичный текст которого был предоставлен им в распоряжение редакции нашей газеты”...

Письмо более подробное отправил Вам позавчера.

Будьте здоровы, берегите себя.

Любящий Вас

А. Д.

24.4.32

Дорогой Петр Владимирович,

Получил письмо от Виктора Станкевича (сына С. Л. С. *) с просьбой навестить его в Вильжюифе, где ему делали операцию (язва желудка). Он предполагал оставить госпиталь 22-го или 23-го апреля. Но письмо, направленное мне через редакцию, пришло ко мне только сейчас. Ответить не могу, ибо не знаю его адреса (по месту жительства), и потому очень прошу Вас справиться по телефону в госпитале: 1) там ли еще (случайно) Станкевич, 2) если

* Ген. Станкевич.

уехал, то куда. В первом случае — скажите, чтобы после выписки из Вильжюифа заехал дня на два к нам в Мантенон; во втором случае — перешлите его адрес. Относительно „ответа” не говорите пока ничего. Нет никакого желания, разве только, если очень спровоцируют.

Читал в „М. И.” — лубок про „Пожарского”. Очень неприятно. Удивляюсь М-ву /Муратову/.

Оказывается, что Д-ский листок „За Россию” составляется в редакции „Рос/сия/ и Сл/авянство/”. К. Зайцев просил у меня статью для сего листка. Отказал за недосугом... Получил от К.*из Белграда проект „спасения России”. До чего детски наивно! Балканская эмиграция, в лице даже неглупых людей, страшно отстала от жизни.

В Светлое Христово Воскресение надеемся Вас видеть у нас.

Всего наилучшего. Любящий Вас

А. Д.

9.5.32

Дорогой Петр Владимирович,

В предположении, что Вы будете у нас в предстоящую пятницу, жена просит Вас привезти кой-что, по прилагаемому списку.

Если еще принимаются где-либо в нейтральном месте подписи протеста по поводу убийства президента** или сочувствия его семье, то не откажите записать меня (только не в редакциях).

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

*Капитан Коняев (?).

** Речь идет об убийстве Горгуловым президента Французской республики Думерга.

Дорогой Петр Владимирович,

На печатание „речи” отдельной брошюрой согласен. Гонорар велик — она не может разойтись в таком числе экземпляров, тем более, что цена д. б. назначена не высокая.

Через два дня исправленный и дополненный текст будет в Вашем распоряжении.

Ф/едоров/ занят только английским изданием (для Америки). М. до получения Вашего письма писал и уже получил ответ. В числе пожеланий ему — было „преодолеть людское злопыхательство”.

От К. Б.* письма действительно не получал никакого — от Вас, Вы знаете, секретов нет.

Отношение всех П/ервопоходников/ было весьма теплым и искренним.

Интересно выяснить и взаимоотношения Харламова в том же отношении, как и А. Марк/ова/.

Коняеву ответил кратко, указав предварительно лишь на то, что и он, по-видимому, склоняется к лозунгу „хоть с чертом и какой угодно ценой”...

Будьте здоровы.

Любящий Вас

А. Д.

Дорогой Петр Владимирович,

Прочел сегодня в „П. Н.” заметку „Годовщина добровольческой армии” и приведен в изумление:

- 1) Что такое „Добровольческий союз”?
- 2) Почему „основоположник”**, когда таковыми являются генералы Алексеев и Корни-

*Расшифровать не удалось.

** „Основоположником” был назван только ген. А. И. Деникин.

лов. „Один из основоположников” — и то с натяжкой.

3) „Чинов Доброармии” — неудачное сокращение.

А главное 4) ни на „публичное”, ни на „товарищеское” чествование согласия не давал, ибо „чествовать” долголетнее сидение за границей не пристало?

Все по-прежнему. Выяснилось, что можно оставаться до весны*, что мы и решили.

Пишите хоть изредка и несколько слов о себе.

А нет — так, хоть, по примеру прошлых лет, — припиской в газете.

Любящий Вас

А. Д.

26.9.32

Дорогой Петр Владимирович,

Посылаю карточку Миончинского; что же касается другой фамилии — ее я не разобрал у Вас; кого не прикидывал — такой карточки нет у меня.

Свою карточку, и с надписью, охотно дал бы всем просившим. Но Вы знаете — у меня нет теперь ни одной. Если можно будет переснять с карточки, имеющейся у Годлевского, за мой счет, надпишу и отдам.

Вы не разобрали в моем письме: был не Н. Н., а Б.,¹ и сведения от последнего.

Вы правы, что теперь делать какие-нибудь разъяснения к заметке о Добр/овольческ/ом празднике неуместно. Я подтверждаю только на случай дальнейших недоразумений, что от „чествования” меня

* В Мантеноне, на севере от г. Шартра.

¹ Речь идет о ген. Н. Н. Стогове и о М. В. Бернацком.

лично в каком бы то ни было масштабе решительно отказываюсь*. Само собой разумеется, что Ш.¹ лжет, так как ни прямо, ни косвенно никаких обещаний РОВСу не давал, да об этом предмете ни с кем из его представителей разговору не имел.

Получил приглашение на открытие собрания, подписанное Репьевым; не ответил, имея в виду неоднократные выходки этого генерала.

В „Р/усском/ Г/олосе/” статьи К.² не встретил.

А в общем — не принимайте так близко к сердцу козни парижского болота.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

* „Дружеский обед” по примеру прошлых лет, как Вы говорите, совсем другое дело. Но теперь и это — под сомнением.

(Примечание на полях) Собираюсь в среду в Париж. Если ничто не задержит, то приеду в 11.20, как всегда. Если не будете на вокзале, то дайте знать к Стог., когда и где увидимся.

Примечание П. В. Колтышева:
вторая половина октября 1932 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Прилагаю письмецо и карточку Коняева, которые он прислал вместе с большим посланием на мое имя. На этих днях собирается начать „хождение” по поводу „борьбы белых армий”. Вновь собираюсь „пить Вашу кровушку”, возлагая на столь занятого

¹ Не расшифрован.

² Не расшифрован.

человека хлопотливое поручение. Дело в следующем:

Только сегодня я получил от М. М. Федорова приглашение участвовать в публичном собрании 6-го ноября (в связи с 15-й годовщиной большевистского переворота). Я ничего не имел бы против участия и наметил тему, посвященную молодежи (в револ. и гражд. войне). Но необходимо раньше, чем ответить, навести справки: 1) Как прошло предварительное собрание. 2) Какие организации устраивают митинг. 3) Кто именно будет говорить. Вы понимаете, что мне можно выступить только „на широком фронте” общественности и при отсутствии совершенно одиозных содокладчиков.

Мне кажется, что проще всего было бы Вам поговорить по телефону с секрет. Федорова — Савченко*. Но это уж дело Ваше. Простите за беспокойство, но дело спешное.

Новостей, перемен, „потрясений” нет. Весьма сожалеем, что в эту пятницу Вас не увидим. От всех поклон.

Любящий Вас

А. Д.

*Телефон Нац. Комитета: Gobelins 27.65.

16.11.32

Дорогой Петр Владимирович,

Вы знаете, что только двукратное обращение М/иллера/ ко мне лично и через М. В. /Бернацкого/ с просьбой помочь ему в его тяжелом положении, в связи с желанием моим обещать РОВС от раскола, побудили меня вмешаться в конфликт между командованием и инициаторами

С. Д.*, с целью его улажения. Вы знаете также, что я отказался от одностороннего и публичного осуждения последних, а своему обращению к командованию придал формы, быть может, даже слишком мягкие...

Но если бы, паче чаяния и вопреки моим примиряющим шагам, командование сочло нужным не только сделать публичным достоянием содержание моего письма, но и сопроводило его пояснением, позорящим инициаторов С. Д.*, — я вынужден был бы немедленно и со всей прямоотой и резкостью поставить этот вопрос.

Поэтому прошу Вас осведомить меня, как только что-либо узнаете в этом направлении.

Не знаю — обратили ли Вы внимание на возмутительную статью П. Муратова в „Возрождении” от 13 ноября (воскресном). Раздаватели „клочков” русской земли дошли до крайнего цинизма. И в свете их „политики” — демонстрация духовного родства и близости между „Возрождением” и РОВСом... Непостижимо и глубоко прискорбно.

Любящий Вас

А. Д.

О получении письма сообщите.

23.11.32

Дорогой Петр Владимирович,

Будьте добры прислать, если у Вас случайно сохранился, номер „Возр/ождения/” от воскресенья 13 ноября. Между Лондоном и rue de Séze большие трения.

* „Союз Добровольцев” — организация офицеров, возглавляемая ген. Неводовским.

Ничего нового, кроме, впрочем, услышанного от субботн/его/ гостя...

Любящий Вас

А. Д.

28.11.32

Дорогой Петр Владимирович,

Продолжающееся „расчленение” России („Украина”) побуждает меня вновь выступить с большою статьей, дав надлежащее определение работе Коростовца и отношению к ней „Воз/рождения/”, а попутно и РОВСа. Будьте добры навести предварительную справку — не встретится ли препятствий к проведению мною этого вопроса на страницах „Пос/ледних/ Нов/остей/”.

Скоро увидимся...

Было бы весьма желательно, чтобы Вы пришли на заседание, посвященное Бурцеву, хотя бы к концу.

Всего Вам наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

19.12.32

Дорогой Петр Владимирович,

Если у Вас сохранилось то мое письмо, в котором я отмечал случай с „Возр/ождением/”, напечатавшим как сенсационную новость старые сведения из „Очерков” (о Корниловском выступлении), то пришлите его спешно мне. Газета не сохранилась, а справка нужна для общего ответа Семенову*.

Выяснилось, что в ближайшие дни десять в Париж не попаду. И потому, если у Вас будет время и

*Редактор газеты „Возрождение”.

охота на текущей неделе заехать к нам, милости просим.

Любящий Вас

А. Д.

27.12.32

Дорогой Петр Владимирович,

Опять Вас затрудняю и отягощаю своими делами. Перспектив никаких. При полном сжатиі можем ограничиваться двумя с половиною тысяч франков. Я предполагал бы поискать заем, под залог бр/ильянтowego/ оружия*, с ежемесячным возвратом по двести франков. Как это вообще тяжело и неприятно, но, может быть, можно было бы устроить такой заем через Сазонову. Затруднение еще в том, что ведь не от всякого могу взять займы...

Во всяком случае залог, в виде бр/ильянтowego/ оружия, обязателен, т. к. это до некоторой степени смягчает морально обязательства.

Если такая комбинация возможна, то попрошу Вас взять бр/ильянтowego/ оружие у Б/ернацких/, причем решительно ничего не говорить ему о предположениях, а ответить в том духе, что „попробуете сами что-либо предпринять”.

Не буду повторять, что все это для нас — вопрос спешный — хотя и знаю, что такие „комиссии” выбивают Вас из колеи и мешают Вашей работе, и без того неблагоприятной.

Письмо это опустит в Париже, для скорости, сосед.

Любящий Вас

А. Д.

* Ген. Деникин, кроме других орденов, получил 4 Георгиевских награды: Георгиевское оружие, орден Георгия 4-й и 3-й степени и, наконец, исключительную награду — Георгиевское оружие с бриллиантами. Это последнее он и намеревался заложить.

17 февраля 1933 г., вечером

Дорогой Петр Владимирович,

Сегодня получил письмо от генерала Миллера, начинающееся так:

„Получив третьего дня Ваше письмо от 11 февр., я с большим огорчением ознакомился с решениями устроителей Собрания 26 февр.; отказавши мне в моем желании приобщить весь Рус/ский/ Об/ще-/В/оинский/ С/оюз/ к устройству Собрания, устроители лишили меня, как председателя Союза, возможности публично в качестве старшего из устроителей чествовать Вас, открывая собрание, и выразить Вам от имени всех Ваших бывших соратников их чувство глубокого уважения, в знак чего и просить Вас принять председательствование на собрании их бывшего главнокомандующего”.

Дальше говорит, что вечером займет место в зале. А после молебна попросит всех пришедших на молебен Первопоходников на 1/4 часа в Галлипольское Собрание, чтобы приветствовать меня и Первопоходников...

Завтра отвечу, указав на то обстоятельство, что „приобщение” Союза к празднованию не только не встречало препятствий, но и приветствовалось.

Прошу устроителей не увеличивать числа ораторов и не „славословить” меня.

Раз Вы взяли уже отпуск на воскресенье, то приходится опять „попить Вашей кровушки” (и который раз!!): американцу я написал, прося сообщить, в котором часу в воскресенье вечером он сможет побеседовать с Вами.

Если получится утвердительный ответ, то две книги и статья будут доставлены Вам в субботу.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

Дорогой Петр Владимирович,
Возможно, что и поеду. Поэтому:

- 1) Надо взять рукопись из редакции, так как текст ее в исправленном и дополненном виде послужит темой сообщения.
- 2) Т-ну можно ответить принципиальным согласием — для того, чтобы они там могли обдумать организацию. Но объявлять о сообщении до получения категорического ответа нельзя*.
- 3) Так как „экономический кризис” — полный, то необходимо возмещение стоимости: нансен/овского/ паспорта, визы и железнодорожного билета туда и обратно. Больше ничего. Пусть прикинут — окупятся ли все расходы.

Полагаю, что в предстоящую пятницу у Вас — отдых. Поэтому прошу зайти к 12-ти часам к нам позавтракать. Кое-кто будет.

Любящий Вас

А. Д.

Дорогой Петр Владимирович,

В пятницу у нас ранний обед — в 4 часа. Будут и Н. Н.-ы**. Ждем Вас.

Кажется, у Вас находится циркуляр Ш.***относительно Союза Нового Поколения****. Принесите.

Любящий Вас

А. Д.

* Речь идет о приглашении ген. Деникина Люблянской Академической группой.

** Стоговы.

*** Ген. П. Шатилов.

**** Речь идет о Национально-Трудовом Союзе Нового Поколения — переименован в НТС.

В редакцию газеты „Последние Новости”

Милостивый Государь, Господин Редактор

Только сейчас в деревне прочел отчет „Я.Ц.” о моем сообщении и пришел в полное изумление от тех изменений, которым подверглись приведенные мною, тщательно изученные и достоверные факты. Обстоятельство это ставит меня в весьма неловкое положение по отношению к сколько-нибудь осведомленным читателям газеты, тем более, что в данное время вопрос о виновности за войну имеет острый политический характер.

Привожу важнейшие ошибки составителя отчета.

В передаче Я. Ц.

Фактически

1) „Ответственность за войну несет исключительно Германия”.

2) „Конвенция эта (франко-русская), подписанная лишь в 13-м году, в своем парагр. 1 гласила: в случае, если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, Россия выставит все свои силы против Германии”...

3) „У нас настолько понимали положение, что директивы на пер-

1) Рядом фактов и документов я подтверждал *сообщество Германии и Австрии*.

2) Конвенция была подписана в 1892 году и только парагр. 2 подвергся изменениям впоследствии. § же 1 гласил: „Если Франция подвергнется нападению Германии или Италии, *поддержанной Германией*, Россия выставит все свои силы для атаки Германии”.

3) Это говорилось по поводу плана 1910 года, к которому я, подобно весь-

вые дни войны предус- ма многим, отнесся со-
матривали очищение 10 *вершено отрицательно.*
губерний и отвод ар-
мии на 200 верст в глубь
страны”...

4) „По Германскому 4) Германцы бросали не
плану войны на Фран- 35 дивизий, а 35 с полови-
цию бросали 35 диви- *ной корпусов.*
зий”...

5) „Указ о мобилиза- 5) Указ о мобилизации в
ции был опубликован это время был опублико-
в Германии 31-го в 12 ван *не в Германии, а в Ав-*
часов 35 мин. дня, за *стрии* за несколько часов
несколько часов до по- до получения там извес-
лучения известия о том, тия о Русской *общей* мо-
что Россия также моби- билизации (*частичная* про-
лизуется”... изводилась с полуночи на

6) „28 июля Сазонов 6) Сазонов дал указание
отдал приказ ген. шта- ген. штабу о производст-
бу подготовить в с е - ве мобилизации на осно-
о б щ у ю мобилиза- вании *постановления ко-*
цию”... *ронного совета от 25 ию-*
ля, т. е. о производстве
ч а с т и ч н о й мобилиза-
ции.

7) „Утром 29-го Госу- 7) О том, что указ дер-
дарь подписал приказ жался в секрете, я не го-
об общей мобилизации, ворил. В течение дня шла
который по ка дер- предварительная подготов-
жался в с е к р е - ка, в том числе контр-
те”. ассигнование подлежащи-
ми министрами. О пред-
стоящей мобилизации Са-
зонов предупредил австр. и
герм. послов.

Не откажите исправить ошибки составителя отчета — в такой форме, в какой для редакции удобнее.

Уважающий Вас

А. Д.

27.6.34

Дорогой Петр Владимирович,

Прямо благодать у нас. И от благорастворения воздуха, и от всего деревенского режима, и от отсутствия нездоровой нервирующей парижской обстановки. Пока больших прогулок не делали — завтра первая. Но, по-видимому, взбираться на горы будет не труднее, чем четыре года тому назад. Жена несколько ослабела, подорвалась работой, вместо отдыха, после тифа. В общем — жизнь дешевле и приятнее.

Получил второе письмо от „Иллюстрированной России”, что размер в полторы тысячи строк их не пугает. Попросят прислать рукопись для ознакомления, обещая не задерживать „более нескольких дней”. Письмо на имя редактора прилагаю. Приложите рукопись полностью, сделав лишь поправку: на стр. 35-й, над цифрой 9, означающей соответствующую главу, поставьте римскую цифру II, что будет означать вторую часть.

Печатать не в полном виде — тяжело, печатать в „Ил. Рос.” — неприятно. Послать туда можно лишь в том случае, если никакой другой перспективы за это время не наметилось. Лично завозить не нужно. Пошлите по почте. Если бы обратились к Вам относительно какого-либо изменения моих условий, то прямо отказывайте.

Шмелевы очень хотят ехать сюда, да все не решаются. Ведем переписку — то просят снять квартиру, то колеблются...

Относительно комбинации Пилипенко — Прейс подумайте... Без Вас скучно. Мои шлют Вам сердечный привет.

Пока что — подножный корм — земляника собственного сбора в большом изобилии. Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

Без даты, 34 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Были на горах, вернулись вечером — поздно уже было посылать ответ; пишу сегодня и не знаю, успеете ли получить сие послание в пятницу утром.

Могут быть две комбинации использования статьи:

1) Если редакция возьмет только вторую половину плюс предисловие („сараевский выстрел”), то гонорар, как я прислал, — 75 сантимов за строку. Уплата — по частям, по мере печатания в журнале.

Конспект первой части (или предисловия) я не посылал, предполагая, что редакция может выразить какие-либо свои пожелания по этому поводу. Во всяком случае, конспект может быть выслан со следующей почтой после того, как получу уведомление об окончательном решении.

2) Если бы редакция согласилась напечатать статью полностью, т. е. все 58 страниц, то гонорар за строку — 50 сант. Уплата на таких же основаниях, т. е. по частям, по мере печатания в журнале.

В этом случае и мне, и редакции было бы выгодно издать статью отдельной брошюрой, — при готовом наборе. Кроме указанного гонорара, никакого аванса не нужно. Расчет же за брошюру с издатель-

ством (редакцией) — по мере ее распродажи — 15% с продажной цены — в пользу автора.

И в этом, и в другом случае будьте добры получить от редакции письменное подтверждение условий, во избежание такого случая, как был дважды уже с Мироновым...

Опять пью Вашу кровушку, затрудняя своими делами... Ничего не пишете о себе, о своем житье...

У нас хорошо и покойно. Ничего пока не пишу, голова отдыхает, моцион укрепляет, экскурсии переносу легче, чем раньше. Все здоровы и шлют Вам сердечный привет.

Любящий Вас

А. Д.

(На полях) Прочел в газете, что затевается со-
судной казной. Обратился за справкой к „сибир.
ов.". Вероятно, придется принять „меры пресече-
ния”.

Без даты,
получено 2.7.34 (П. В. К.)

Дорогой Петр Владимирович,

При всех своих затруднениях уродовать свой труд* путем „выдержек” не могу.

Если не сейчас, то ведь к 28 июня или 1-му августа редакции придется же к 20-летней годовщине печатать статьи о „происхождении войны”.

Все, что могу сделать, это сократить сильно 1-ю часть, скажем, до 10—15 страниц вместо 35...

Но эту работу должен выполнить я сам. Тогда размеры всей статьи (главным образом, события

* Статья „Начало войны”, см. „Иллюстрированная Россия” за 1934 г.

между 28 июня — 1 августа) будут от 30 до 35 страниц, т. е. 1500 строк или немного более.

Если в такое время и на такую тему газета не находит места на 1 1/2 тысяч строк, то черт с ней.

Предпочитаю материальный ущерб — моральному.
Любящий Вас

А. Д.

10 июля 1934 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Прежде всего все мы шлем Вам сердечное поздравление с днем Ангела и пожелания если не счастья, то душевного спокойствия. Второе по нынешним временам с успехом замещает первое. Сожалеем, что в этот день мы — не вместе.

Длинное письмо Ваше получил. Как все выродилось и измельчало, и какая „постыдная кончина” военной организации. Только Вы напрасно думаете, что вся эта компания кончается. Чадить и мутить еще будут долго.

Сейчас у нас Шмелевы; подыскиваем им жилище — это не легко, в особенности при нерешительности И. С. /Шмелева/.

До сих пор не занимался. А работы предстоит много. Получил письмо из Сербии — все предварительные меры, пишут, приняты, разрешения министерств и проч. имеется. Ждут к осени. Одним словом, готовьтесь к поездке. То обстоятельство, что сообщение о происхождении мировой войны будет напечатано в журнале, затрудняет мое положение — придется переработать весь очерк. Одно утешение, что журнал не многие читают, а сербы, вероятно, и вовсе.

В редакцию я ответил — если комбинация с брошюрой не подойдет, остаются в силе первоначаль-

ные условия, причем заглавие — старое и конспект первой части предоставил составить редакции, с обязательством упомянуть, что это — именно конспект, а не текст.

Я не оговаривал, но это само собой разумеется, что гонорар должен быть исчислен за все строки.

От Н. Н. /Стогова/ получил письмо, но решительно никакой информации. Объясняю это тем, что информировал он Вас. От Э/рдели/ также письма не получал. „Сиб. Ов.”* справки о „казне” еще не прислал.

Возвращаясь к Вашему письму. Вопрос о перемещении Глав/ного/ прав/ления/ Первопоходников не так прост: в Уставе говорится, что местопребывание его — в стране, где проживает наибольшее число Первопоходников...

И в этом вопросе, как и во многих других, приходится пожалеть о той удивительной халатности, в силу которой ни в основной организации, ни в ее подразделениях не существует никакого фактического учета.

На выпад брошюрки опричников никак реагировать не нужно. Презрите. Когда-нибудь, при случае, кому нужно разъясните.

Вообще же жалею Вас искренно — вариться в этой постылой каше чужой пошлости и провокации... За воинство только обидно — неповинно и неразбирающееся.

Будьте здоровы, храни Вас Бог.

(Приписка жены А. И. Деникина)

И от меня примите поздравление, милый Петр Владимирович. Невеселые у Вас именины в этом го-

* Вероятно, речь идет о ген. Лукомском.

ду. А м. б., отпразднуете их на новосельи у Н. Д. Н/еводовского/! Тогда хоть будете иметь утешение — общество милых людей. Спасибо за рукодельн. журнал. „Journal” уже получаем. Ждем Пилипенки, а в августе Шпигелей. Шмелевы сняли квартиру по соседству. В деревне рядом будет жить свящ. Булгаков. Прибыл уже Н. П. Гронский. Вообще „русский сезон” начался. Сердечный привет. Копите деньги на обмундир., для поездки осенью. Жарко у Вас, воображаю. У нас хорошо. Будьте здоровы и всего хорошего.

Кс. Д.

Без даты
(Примечание П. В. Колтышева:
авг. 34 г.)

Дорогой Петр Владимирович,

Каюсь, что долго не писал. Трудно как-то было приступить. Да и не напишешь так, как поговорили бы в живой беседе, которой так недостает мне в далеком Аллемоне...

Дом полон людей и жизни, преимущественно молодой. Русская колония представлена широко: мы, Оля Карпинская, Пилипенки, Шмелевы с племянником, сестра Гронского с дочкой (Шмелевы и Грон., конечно, — в других домах) и внизу, в Фондари — Саша Титов. У нас же еще с 4-го — супружество Шпигелей. В общем, состав колонии — 16 душ.

Раз или два в неделю молодежь и мы с женою ходим в далекие экскурсии — иногда с платонической целью, полюбоваться Божьей красотой и предвечным хаосом наших гор, но чаще — с целью корыстной: земляники (собираем до сего дня на (одно слово неразб. — Ред.), черники, малины, грибов, орехов (еще не спелые) в этом году — не-

початый угол. Настаиваем, сушим, варим, маринуем.

Переношу горные походы лучше, чем в прошлом году, ни разу не задыхался. Правда, сил не форсируем, плетемся с женой потихоньку, но цели достигаем. Погода благоприятствует, а если Бог дождей пошлет, то и то на потребу — гриб лучше идет. По этой части у нас известные чемпионы — жена и Марина. Тягаются количеством. Здоровы все.

Между делом, т. е. между „экспедициями” пишу-печатаю. Не слишком насилюя мозги. Пока окончил первое сообщение („Прошное”), обдумал второе („Настоящее”) — это на случай, если соберемся с Вами в отъезд... Что касается вопроса о военной организации, то — грешен — не писал и не обдумывал. Слишком много в этом вопросе отталкивающего. Надо еще собраться с силами.

То душевное спокойствие, которое низошло на нас первое время, сейчас — на ущербе. Всякие житейские мелочи, да, кроме того, трудный вопрос отношений „отцов и детей” волнует не раз. К этому присоединяется еще неуверенность — сможем ли осилить „въезд в Париж”. Дело в том, что надежда на то, что удастся вытянуть гонорар с берлинского „Слова”, потеряна. А „Иллюстр/ированная/ Рос-/сия/” что-то крутит... Что они напечатали — я еще не читал, но в объявлении последующего номера продолжения своей статьи не нашел. Запросил редакцию — как она предполагает использовать мою работу, и потребовал денег и журнал. Если обманут, придется судиться. Вообще издательские и газетные нравы — чёрт знает что такое.

Н. Д. Н/еводовский/ писал несколько слов жене и, очевидно, в мой адрес — оправдание по поводу своего выступления на собрании Пивня... По-моему, самый факт его выступления, независимо от

того, что он говорил, роняет. Я сам лично предостерегал его от этого шага, и он уверил меня, что выступать не будет.

Получил подробную записку от Сиб. Ов.* по поводу ссудной казны. По-видимому, предотвратить злоупотребление не удастся. От него же и от Н. Н. /Стогова/ — кой-какую ориентировку относительно внутренне-эмигрантской жизни. Мало утешительно. Все, по-видимому, осталось по-старому. „На фронте без перемен”.

Пригласили С/тоговых/ или с 22 августа, если пожелают занять отдельную комнату, или с 4 сент., когда освободится у нас. Вообще с ними вышло сложно, и сами они запутали положение своей нерешительностью.

Очень мне недостает Вас, дорогой Петр Владимирович. И поэтому хоть пишите чаще, не считаясь со мной письмами.

Сердечный привет шлем Вам. Любящий Вас

А. Д.

29.8.34, Аллемон

Дорогой Петр Владимирович,

„Вот уже лето приходит к концу...” Чем помянуть, и не знаю. Физически как будто и окреп, а морально не особенно: суматоха, заботы о завтрашнем дне, маленькие огорчения, всего понемногу. Первый месяц ничего не делал, только гулял. Со второго принялся выстукивать предстоящие „сообщения”**. Теперь сижу сиднем за машинкой, оставляя ее только для больших экскурсий, предпринимаемых 1-2 раза в неделю. Работы оказалось много,

* Видимо, от ген. Лукомского.

** Предстоящие выступления в Югославии и Чехословакии.

хотя темы хорошо знакомые. Лишь бы не впустую. Если обстановка будет благоприятна, то пустимся с Вами в путь в конце октября — при Вашем согласии, конечно. Кстати, определенно по этому поводу Вы еще ни разу не высказались. Жуков вновь подтвердил свою просьбу и приглашение.

Шмелев поправился настолько, что предпринимает прогулки в горы, подымаясь на тысячу метров. На днях приезжает капитан (флотский) Щербачев, вслед за ним Пилипенко. Словом, „собрание армии и флота”. Прискорбно, что так неладно вышло со Стоговым, очень меня это огорчает. Приедет ли он или нет, не знаю.

Хотя и летние каникулы, но время кипучее и тревожное. Тучи сгущаются и всего можно ожидать. К несчастью, нам не по пути ни с одной из двух главных мировых группировок. Одна — с советами, поддерживая их бытие, другая против советов, посягая на Россию. Нужно будет нам идти своим путем, не завязая в трясинах стран рассеяния и используя всякие возможности противосоветской борьбы, которые несомненно откроются. Получаю некоторое удовлетворение, видя, что с резкими переменами в международной обстановке мне не приходится менять ни своих основных взглядов, ни прогнозов.

„Амнистия”... Я удивляюсь, что это определение, глубоко обидное для активной, хотя бы в прошлом, эмиграции, повторяется зарубежной печатью. Не нам получать „амнистию”, а коммунистам придется просить ее у русского народа, причем немногие получают. По существу же — это очередной советский блеф, который они приберегали к решительным дням. Объявят ли они его к октябрю, как ходят слухи, не знаю, но к войне объявят обязательно. И внесут соблазн в души отчаявшихся. На эту

тему придется в свое время поговорить пообстоятельнее.

Судя по справке, данной Лукомским, трудно что-нибудь сделать для спасения Ссудной казны. Ответа его письмо не требовало. Эрдели не писал мне ничего. Слышал, что он посетил Гренобль, был якобы даже в Риу-перу, что в нескольких верстах от Аллемона, но к нам не показывался.

(4 строки зачеркнуты рукою А. И. Деникина. — Ред.)

От редакции получил 3 номера „Илл. Рос.“, больше никаких и не получал*. Напомнил о гонораре, но редакция не только не прислала гонорара, но даже не ответила.

Дай Вам Бог успеха в Ваших делах и душевного покоя.

Сердечный привет от всех нас. Любящий Вас

А. Деникин

*Жена говорит, что и „Мод“ не получила.

(На полях) Зачеркнул, п. ч. все оказалось ненужным: редакция прислала очень любезное письмо, заявив, что ждала Вас за получением денег. Будьте добры — возьмите. Расчет, как Вы знаете, по 75 сант. за строку.

Без даты, конец 1934 г.

Дорогой Петр Владимирович,

Очень благодарен Вам за хлопоты о гонораре. Хорошо, что и то удалось вытянуть из редакции. Никаких больше споров с ней заводить не буду — бесполезно.

Когда я с Вами беседовал по поводу совместной поездки, меня смущало то обстоятельство, что за

время ее Вы лишитесь заработка и, следовательно, возможности уплаты долгов. Что же касается расходов по поездке (каких бы то ни было, в том числе виз и проч.), то, конечно, они Вас касаться никак не могут.

Н. Н. /Стогов/ указывал наиболее удобный поезд, с прямым вагоном 3-го класса до самого Белграда. При случае у него справьтесь. В зависимости от этого маршрута — те или другие визы. Но торопиться с ними не стоит: во-первых, у меня нет еще ни паспорта, ни виз, а во-вторых, — поездка предусмотрена в 20-х числах, а то и в конце октября.

Возникла мысль из Белграда проехать в Прагу, если возможно будет окупить ее „сообщениями” там. Приглашает к себе гр. С. В. Панина.

На той неделе по поводу всех этих комбинаций войду в окончательное сношение с Жук/овым/* и с С. В.**

Сердечный Вам привет от всех. Любящий Вас

А. Д.

Без даты

Дорогой Петр Владимирович,

Как Вас угораздило взять на себя устройство Добровольческого бала — при Вашем моральном и материальном состоянии, да еще в предвидении поездки за границу... Я, со своей стороны, могу только в свое время написать маленькое воззвание. Что касается жены, то душевное состояние ее таково, что сейчас не стоит подымать этого вопроса, поговорите в Париже.

*Полк. Е. А. Жуков, помощник председателя Союза Писателей и Журналистов в Югославии.

**Графиня С. В. Панина.

Работу свою закончил. Осталось взять несколько справок в книгохранилищах — 2 или три дня занятий. Аудитория трудная, но думаю, что с нею справлюсь. В широких пределах — между 15 и 30 октября. В этом же конверте посылаю Вам сто франков — в приблизительное возмещение расходов паспортных. Вступил в окончательные переговоры с Белградом и написал в Прагу.

Младоросский молодой человек* какое выкинул коленце. Ударил ножом в спину „Возрождение” и перескочил через Милюкова. Его оборонческая позиция, с некоторыми оговорками, заслуживает одобрения — правда, она — не его, но это не важно. Что же касается отношения младороссов к пактам большевиков и их признаниям — оно возмутительно. А ведь недавно еще заключал пораженческий союз с Бермонтом и Вонсяцким...

Прочел в „Возрождении” рассказ „белого офицера”, побывавшего в России. На всякий случай сообщая Вам свой совершенно определенный взгляд по этому поводу: если это — не провокатор, то его водили за нос чекисты и издевались над ним так же, как в свое время издевались над Шульгиным. Достаточно указать на сценку на вокзале, когда за стол против него сели два добрых чекиста и начали веселенькие разговорчики про гражданскую войну на Юге, про Шкуро и проч. ...

Приедем в Париж в т о р о г о октября утром, около 8 1/2 часов. Так как с нами будет много вещей, а главное, в это утро, согласно посланному распоряжению, перевозится наша мебель на новую квартиру, ставятся счетчики и т. д., то прямо с вокзала придется ехать домой. И поэтому не можем

* Речь идет о Казем-Беке — „вожде” Младороссов, вернувшемся в СССР.

воспользоваться милым предложением Стоговых. Если увидите их до нашего приезда, то объясните, если же нет, то черкните Н. Н-чу /Стогову/ два слова. В день приезда никуда...

Беда, машинка испортилась. Хорошо еще, что в конце работы... Никуда не придется идти, а заняться раскладкой.

Очень и очень печалит меня Ваша безработица и здоровье, которое Н. Н. /Стогов/ находит неважным.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

Прилагаю странное письмо Эрдели и копию моего ответа. Только для личного осведомления. Можно, впрочем, показать доверительно Н. Н. /Стогову/, а „орлам“* — не надо.

Без даты, конец 1934 г.

Дорогой Петр Владимирович**,

Выяснилось, что выедем утром после вечера...

В пятницу рассчитываем Вас увидеть. От Жук/ова/ сведения весьма благоприятны. Шмелев даст книжку и портрет. Несколько билетов продано.

Всего наилучшего.

Любящий Вас

А. Д.

* Ближайшие к ген. Кутепову добровольцы — первоходники.

** Это последнее письмо ген. А. И. Деникина перед поездкой вместе с полковником П. В. Колтышевым в Югославию и Чехословакию.

Александр БАХРАХ

Л. Брик и В. Маяковский

(По памяти, по записям)

Было это в те баснословные времена, когда Москва еще прозывалась „Белокаменной”, а в одном из ее кривых переулков, в котором каменные дома еще перемежались с деревянными особнячками, проживало семейство выходца из Либавы Урия Кагана, состоящее из отца, матери и двух дочерей. По словам старшей из них, отец ее был юристом, но „из-за своего еврейства ходил в помощниках 25 лет, а в окружном суде выступали его помощники, давно уже ставшие присяжными поверенными”. К этим сугубо лаконическим сведениям младшая дочь добавляла, что отец ее „был также юрисконсультом австрийского посольства” и что „к нему обращались за советом приехавшие на гастроли и не поладившие со своими антрепренерами австрийские акробаты, эксцентрично одетые шантанье певички, тирольцы с голыми коленками”. Между тем, кое-что во всех этих деталях, касающихся деятельности отца почтенного и по нынешним понятиям вполне „буржуазного” семейства, вызывает легкое

В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка 1915—1930. Введение и комментарии Бенгт Янгфельдт. Изд. Almqvist & Wiksell International, Стокгольм, 1982.

недоумение, потому что дочь, повествующая о своем папе, упустила из виду, что в те дни никаких посольств в Москве не могло быть, а консультации, которые он мог давать австрийским артистам, едва ли оплачивались столь щедро, чтобы целая семья могла жить безбедно, дать дочерям солидное образование, иметь при них французских гувернанток, посещать заграничные курорты, а музицирующей матери семейства ежегодно ездить в Байрейт на вагнеровские фестивали. Кагановские дочери, очевидно, всегда были склонны к известной стилизации или чего-то не договаривали.

Но вот наступил 1905-й год, который был судьбоносным не только в истории России, но и в жизни старшей из кагановских наследниц, той, которая впоследствии стала в литературных кругах известна под именем Лили Брик. Учившаяся до того дома, она в этом бурном году поступила сразу в пятый класс частной женской гимназии. А ведь в ту пору революционные события накладывали отпечаток даже на школьную жизнь. Гимназисты и гимназистки сообща организовывали какие-то кружки, о чем-то в них ожесточенно спорили, шумели и выносили грозные резолюции. Так, по признанию самой Лили, кружок, в котором она принимала деятельное участие, в числе других выставлял требование о предоставлении автономии Польше. Можно, однако, предполагать, что принятая кружком исторически вполне обоснованная резолюция до царского правительства не дошла. Во всяком случае, оно на нее никак не реагировало и даже не обратило ни малейшего внимания на тех, кто ее подписывал.

Следует уточнить, что Лилин кружок собирался в помещении женской гимназии, и хоть о совместном обучении тогда в Москве и разговора не было, кружок все же посещался и учениками соседних гимна-

зий и его руководителем был избран восьмиклассник Ося Брик. Для того, чтобы сделать его биографию более красочной, Лиля, когда это стало „полезным“, утверждала, что Осю вскоре за революционную пропаганду из гимназии исключили. Другими словами, он еще в зеленой молодости пострадал за свои не в меру радикальные воззрения. Впрочем, довольно непонятным образом исключение из гимназии не помешало Брику поступить в университет и жить так, как жили тогда сыновья зажиточных родителей.

Отец Брика был владельцем сравнительно довольно крупной фирмы, торговавшей кораллами, и часто ездил по делам в Италию, прихватывая с собой сына, чтобы приучить его к ремеслу, а так как главным местом сбыта этих кораллов был Туркестан, то Осе приходилось не раз сопровождать отца в этом далеком по тем временам путешествии.

Капризы судьбы неисповедимы, и так случилось, что четырнадцатилетняя Лиля полюбила семнадцатилетнего Осю, но для того, чтобы оформить эти взаимные чувства, им понадобилась целая „вечность“, исчисляемая в долгие пять лет.

Как Лиля рассказывала одному из своих интервьюеров, в 1908-м году кончила она гимназию и настолько блестяще сдала математику, что после выпускных экзаменов директор гимназии вызвал к себе ее отца и просил его не губить математических дарований своей ученицы.

Однако и тут в Лилиных рассказах можно заметить некоторую алогичность. Она, мол, намеревалась поступить на математический факультет высших женских курсов Герье, но при этом добавляла, что евреек туда без аттестата зрелости не принимали. Но ведь общеизвестно, что в высшие учебные заведения без одного аттестата и лиц других исповеда-

ний не принимали, причем такой обычай существовал не только в царской России. Странно и то, что, блестяще кончив гимназию, по ее словам, с круглой пятеркой (напомню, что в России существовала пятибалльная система), она искомого аттестата не получила и только годом позднее ей пришлось сдавать дополнительные экзамены при Лазаревском институте восточных языков, куда она намеревалась поступить для дальнейшего изучения математических наук. Довольно непонятен вопрос о существовании математического факультета в этом, посвященном ориенталистике, институте. Впрочем, как известно, арабы изобрели не только цифры, но и алгебру.

Как бы то ни было, Лиля и после окончания гимназии не перестала увлекаться высшей математикой, настолько, что „даже выписывала книги из Германии”. Но очевидно, ни Гаусс с его „теорией ошибок”, ни Вейерштрасс с его математическим анализом не были достаточно убедительны, чтобы Лиля продолжала идти по пути Софьи Ковалевской. Она быстро убедилась, что ее математическое увлечение было ошибкой, хоть и не из тех, о которых она успела вычитать у Гаусса, и поэтому она перешла в архитектурный институт, тот самый, в котором уже училась младшая ее сестра. „Сменив вехи”, Лиля посвятила себя живописи и лепке и для усовершенствования на этом новом для нее поприще сразу уехала на какой-то срок в Мюнхен, имевший тогда репутацию „северных Афин” и усиленно, почти наряду с Парижем, посещавшийся русскими молодыми художниками.

Помогло ли развитию ее художественных способностей пребывание на берегах Изара, неизвестно. Известно только, что чуть ли не в день ее возвращения из Мюнхена она попала на спектакль художе-

ственного Театра и в антракте случайно встретила Брика. На следующий день он ей позвонил, они встретились — я передаю ее слова — „пошли погулять, зашли в ресторан, в кабинет, спросили кофейничек (воображаю, каково было выражение лица официанта, когда он подавал кофейничек посетителям отдельного кабинета), и Ося без всяких переходов попросил меня выйти за него замуж”*

Лилины родители сняли для новобрачных четырехкомнатную квартиру, из которой они почти не отлучались, если не считать деловых поездок в Туркестан. По словам Лили, „уже тогда у нас были признаки меценатства”. Выразились же они в том, что в эти утомительные поездки они брали с собой, неизвестно с какой целью, молодого поэта Константина Липскерова, автора довольно талантливого сборника стихов „Песок и розы”, стихов, которые, действительно, пропитаны воздухом тех отдаленных российских окраин.

Повлияла ли поэзия их друга на молодоженов, выяснить трудно, но Бухара, Самарканд и Ташкент с их восточной экзотикой настолько пришлись им по душе, что они стали размышлять о том, чтобы переехать в эти края, благо для отцовской фирмы, в которой Брик продолжал работать, это было бы весьма на руку. Однако осуществлению этого проекта воспрепятствовало одно немаловажное событие: неожиданно вспыхнула первая мировая война.

Само собой разумеется — так утверждала Лиля, правда, пятнадцать лет спустя — „с первого же дня мы были пораженцами”, и ввиду того, что „патриотического подъема у них не было”***, они сочли за благо сесть на волжский пароход и плавать на нем

*Бенгд Янгфельдт, ук. соч., с. 16.

**Там же.

взад и вперед до тех пор, пока все как-то „не образуется”, пока не схлынет первая горячка и не уйдут на фронт первые маршевые роты. Очевидно, чета Бриков заимствовала свою философию у Матвея, лакея Стивы Облонского, который недаром считал, что с течением времени „все образовывается” и становится на место, — а пока что об Осе забудут.

По словам Лили, они сошли со спасительного парохода только после того, как для них был зажжен „зеленый огонь”, указывающий, что Брику не грозят непосредственные опасности и он будет пристроен. Поверить этому нелегко, но все же они вернулись, и тут, словно „*deus ex machina*”, на их горизонте появился знаменитый тенор Собинов, в которого были заочно влюблены все российские девицы. Невесть почему, но он якобы протянул им руку помощи и каким-то образом, пользуясь своими связями, пристроил Осю к стоящему гарнизоном в Петербурге автомобильному дивизиону. Это было какое-то совсем необычное воинское соединение, пополнявшееся шоферами-инструкторами, преимущественно из литературных кругов, отнюдь не стремившимися попасть на фронт. Кстати, службу в этом дивизионе весьма красочно описал Виктор Шкловский в своем „Сентиментальном путешествии”.

У Лили от сердца отлегло, но все же из-за войны пришлось пойти на некоторые жертвы. Ося должен был прекратить работу в фирме отца, забыть о кораллах и перекочевать на берега Невы. А так как деньги на жизнь посылались родителями, то, не желая их чрезмерно обременять, Брики, хоть Ося и числился в нижних чинах, временно должны были уместиться в тесной двухкомнатной квартирке на улице Жуковского, и только три года спустя им удалось сменить ее на освободившуюся в том же до-

ме шестикомнатную. О своих квартирах и об их величине Лиля вспоминала до конца своих дней.

Может быть, я с малосущественными и в общем ненужными штрихами, пользуясь тем, что рассказывала людям сама Лиля, вкратце излагаю историю ее молодых лет, но именно некоторые приведенные детали представляются мне крайне характерными для уяснения ее личности и для того, чтобы иметь достаточный материал для отделения „Dichtung” от „Wahrheit”.

Замечу при этом, что по моим собственным впечатлениям, своего рода моментальным фотографиям, потому что по существу в моей молодости Лилу Брик встречал я считанное число раз и притом всегда в шумной компании, младшая ее сестра во многом значительно отличалась от старшей, несмотря на то, что семейное сходство их сказывалось не только во внешнем виде, но и в особом умении добиваться поставленной цели, какой бы на первый взгляд она ни казалась замысловатой. Ни одна из сестер не останавливалась на полпути.

Эльза была внешне менее эффектна, чем Лиля, но зато была талантливее и энергичнее, много более работоспособна и более приобщена к „маленькой” жизни. Лиля, несомненно, была с ленцой, да к тому же в любых положениях считала себя „барыней”.

Курьезным образом, завела знакомство с Маяковским не Лиля, а младшая ее сестра. Когда ей еще не было шестнадцати лет, она встретила его у общих знакомых и поначалу он ошарашил ее своей желтой кофтой, повязанной большим черным бантом. Он был дерзок, огромен и непонятен, как непонятными казались ей его стихи, которые он декламировал громовым голосом. Но все это не могло не прельстить воспитанную в буржуазном быту

барышню и она из какого-то любопытства решилась пригласить его в родительский дом. Он появился с цилиндром на голове, больше всего напугав горничную, но вместе с тем вызвав некоторую подозрительность и у родителей, тем большую, что он стал чуть ли не ежедневно появляться в обеденные часы. Но он был настолько учтив и обезоруживающе вежлив, что родители быстро сдались и в их доме он стал своим человеком. Недаром Кагановская семья как-никак была из передовых и в кабинете отца беклиновский „Остров мертвых” был заменен портретами Вагнера и Чайковского. Видно, мать семейства в музыке была оппортунисткой!

Но вернемся к Лиле. Познакомился я с ней „в те баснословные года”, когда у каждого из нас еще все было впереди. Познакомился на какой-то многолюдной и пьяной вечеринке в ателье одного известного русского художника. Много с тех пор воды утекло, но я все-таки и по сегодня помню, как при моем появлении Лиля, точно она была центром пирушки, полулежала на какой-то тахте со сломанными пружинами, той самой, которая была много лет спустя воспроизведена в тринадцатитомном академическом издании сочинений Маяковского с сидящими на ней Бриком и Маяковским. Когда хозяин ателье подвел меня к „именитой” гостье, чтобы ей представить, она царственным жестом протянула мне руку, вызываясь приближая ее к моим губам. Вероятно, в своем знаменитом салоне мадам де Рекамье таким же жестом протягивала руку своим гостям. Но тогда в этом огромном и безалаберном ателье, в котором вместо мебели были прислоненные к стене и повернутые задом холсты, подрамники и множество ветхих музыкальных инструментов, служивших хозяину ателье для его натюрмортов, Лилин жест был в диковинку, не столько пото-

му, что тогда я еще не привык прикладываться к дамским ручкам, но скорее из-за того, что он был сделан Эгерией того московского „салона”, постоянными посетителями которого, как я хорошо знал, были остепенившиеся футуристы, еще накануне совмещавшие свой футуризм со скандалом, и рядом с ними не окончательно раздавленные формалисты, вернее, та их группа, которая на короткий срок нашла тихую пристань в редакции новоиспеченного журнала „Леф”. А в этой среде едва ли практиковались утонченные манеры.

Но как-никак, в той богемной компании, в которой я впервые Лилю повстречал, она по праву могла претендовать на роль королевы. Она выделялась не только своей манерой держаться и какими-то в точности не определимыми признаками внешней „породистости”, но еще и своей, хоть и не парижской, но все-таки элегантною, каким-то умением носить свои платья. А поверх всего — категоричностью и непреерекаемостью суждений. Вступать с ней в спор, оппонировать ей должно было самому ее собеседнику показаться бестактностью, и этим сознанием своей особенности она легко заражала свое окружение. Между тем, строго говоря, это ее свойство надлежало принимать на веру и ему подчиняться, ведь ничего особенно острого или остроумного она не изрекала, да и все ее литературное наследство ограничивается весьма односторонними воспоминаниями о Маяковском, без которого имя ее кануло бы безвозвратно в вечность.

Потому-то не казалось удивительным, что находившийся рядом с ней Маяковский, во всяком собрании стремившийся главенствовать и становиться точкой притяжения, в этот вечер, на котором, собственно, он должен был изображать роль „почетного гостя”, как бы съеживался, меркнул и если и от-

Тодил от Лилиной тахты, то исключительно для того, чтобы принести ей какую-то закуску или наполнить ее стакан.

А тут же рядом находился и Лилин законный супруг, человек острого ума и большой эрудиции, имевший собственные „формалистские” идеи о „звуковых повторах” в поэзии, но по существу человек с виду серый и малозаметный и уже обремененный далеко не лестной репутацией. Впрочем, следует указать, что сама его законная супруга подтвердила специализировавшемуся на изучении Маяковского шведскому слависту, с которым во время его пребывания в Москве она незадолго до смерти подружилась, что Брик „работал в Чека в качестве юридического эксперта”*, но якобы только „одно время”. Конечно, это высокое учреждение в юридических экспертах особенно нуждалось, ведь его сотрудникам было так легко преступить законы. Но, с другой стороны, было ли возможным, работая в нем, сказать — „теперь довольно...”? Впрочем, доходили до меня слухи, в достоверности которых у меня нет оснований сомневаться, что юридический советник принимал участие и в допросах, особенно когда дело касалось лиц, причастных к литературе.

Но в тот вечер он не открывал рта, как-то вымученно улыбался, перешептывался с Маяковским и норовил показать, что глубоко презирает происходившую вокруг него толчею.

Я с огромным любопытством глазел на эту необычайную тройку, и меня никак не удивило, когда я много позже прочитал признания самой Лили, которая говорила: „Брик был моим первым мужем. Обвенчались мы в 1912-м году, а когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг дру-

*Б. Я н г ф е л ь д т, ук. соч., с. 37.

га, все мы решили не расставаться''. Недаром же Маяковский и Осип Брик были близкими друзьями, связанными не только общностью идейных интересов, но и литературной работой, а после Лиленного признания их союз приобретал новое измерение. Разве не было поэтому логично, что, как повествует Лиля, они прожили жизнь „и духовно и территориально вместе’’?

А ведь это самое „территориально вместе’’ было далеко не банальным разрешением проблемы даже на фоне разваливавшегося московского быта 20-х годов, даже при наличии острейшего квартирного кризиса, который, впрочем, едва ли мог затрагивать создавшийся „революционный’’ треугольник. Но ни тогда, ни позднее никто и глазом не моргнул: все точно сговорились делать вид, что никакой необычности в этом сожительстве не ощущали и все идет „привычной линией''. Это настолько внедрилось в сознание знакомых им людей, что чуть ли не полвека спустя несколько наивный шведский ученый, на которого я уже ссылался, мог писать, что „Маяковский и Лиля Брик — одна из замечательнейших пар, известных истории мировой литературы''. Что правда, то правда — на поверку выходит, что у Абеяра было некоторое „недоразумение’’ с Элоизой, Данте только издали наблюдал за Беатриче, а Петрарка был едва знаком с Лаурой...

Между тем пара Лиля—Маяковский казалась соединенной крепко-накрепко, и действительно, как только Маяковский разлучался с Лилей, он то и дело писал ей слащавые письма или слал телеграммы, в своих обращениях употребляя эпитеты, вроде „ослепительный'', „изумительный'', „зверски милый'', — словом, все те, которые традиционно можно найти в письмах каждого влюбленного, адресованных своей избраннице или, больше того, найти

в любом письмовнике. Подписывались эти письма неизменно „Щен” или „Счен” и к подписи был пририсован довольно ловко сделанный рисуночек с изображением щенка — таково было домашнее прозвище Маяковского.

Достойна внимания дальнейшая история этих писем, которые тщательно хранились их получательницей, может быть, перевязанные розовой ленточкой, которая, собственно, соответствовала бы их стилю. Впервые опубликовала их сама Лиля, хоть и далеко не полностью, в „Литературном наследстве”, самом почтенном из советских литературоведческих изданий, в томе, вышедшем под заголовком „Новое о Маяковском”. Однако, подписав том к выпуску, советские Катоны решили, что их читателю будет зазорно знакомиться с этими письмами и не только не допустили выход обещанного и уже готового второго тома о Маяковском, но изъяли из продажи уже выпущенный первый, который, как говорят, стал на родине некой библиографической редкостью. Да ведь, действительно, можно ли было допустить, чтобы стало известным, что „поэт революции”, начавший свою революционную деятельность, если верить его автобиографии, чуть ли не в двенадцатилетнем возрасте, был способен на столь плоские и столь трафаретные любовные излияния? „Бронзы многопудье”, установленное на московской площади, которой присвоено было его имя, никак не гармонировало с письмами, начинавшимися словами „милый кашалотик” и кончавшимися инфляцией поцелуев, достигающей четырнадцатизначных чисел. Стальная логика марксизма-сталинизма стерпеть такого не могла! А кроме того, в этой пачке писем немалое их число было посвящено денежным вопросам, вернее, Лилиным напоминаниям о высылке денег или, когда Маяковский бывал в Париже сам

по себе, просьбам об уплате долгов за туалеты знаменитым модным домам.

Но вот — вскоре после описанной мной вечеринки, под конец которой Маяковский мастерски прочел свои стихи об Акуловой горе и о посещении его дачи солнцем, мне довелось принять участие в обеде, на котором, кроме поэта, были и Лиля с Эльзой, Шкловский, Пуни, имена остальных сотрапезников выветрились из моей памяти. Без особой на то причины разговор коснулся конструктивизма, усиленно пропагандировавшегося Эренбургом вкупе с художником Лисицким, совместно издававшими недолговечный теоретический журнал „Вещь”. Маяковский зло нападал на Эренбурга, уверяя, что автор „Хулио Хуренито” намеренно занят „деэстетизацией производственных искусств” и за это... на словах в придумывании наказаний Маяковский не стеснялся! А вслед за тем разговор коснулся разросшейся чуть ли не до двух тысяч строк поэмы самого Маяковского „Про это”. Тема эта была еще свежей и тем более сенсационной, что первый вариант поэмы появился в первом номере журнала „Леф”, который вышел незадолго до того, вызвав немалую шумиху.

Основная тема поэмы, которая, по признанию автора, — „остальные оттерла и одна безраздельно стала близка”, выражалась лапидарными строками: „Эта тема день истемнила, в темень / колотись — велела — строчками лбов. / Имя / этой / теме: / ...!” и в журнальном тексте за этими словами был поставлен ряд точек. Маяковский предлагал прозорливому читателю самому найти финальное слово, рифмующееся со словом „лбов”!

За обедом в несколько минорном тоне говорилось о том, что поэма, на успех которой Маяковский возлагал большие надежды и которую вполне

очевидно он считал большим своим достижением, не пришлось по вкусу московской критике. Напостовцы, тогда еще весьма влиятельные, шипели, провозглашая, что это „сорняк, который надо выколоть”; более умеренные и, вероятно, более искренние критики ругали Маяковского за предельный индивидуализм, пронизывающий поэму леденящим чувством одиночества, но все же наиболее досадное для Маяковского было то, что один из руководящих сотрудников „Лефа” и недавний его единомышленник узрел в „Про это” измену платформе журнала, учуял в ней не выход, а безысходность.

При этом один из присутствующих — не Шкловский ли? — указывал, что обложка отдельного издания поэмы с фотомонтажем Родченко, изображавшим ту, которой поэма была посвящена, была не в меру вызывающей. Ретушированный портрет Лили с деланной театральной улыбкой, с ее преувеличенно-большими глазами, словно наведенными на читателя и будто способными его загипнотизировать, — все это было чересчур личным, общественно ненужным или даже, может быть, вредным. Близкие к Маяковскому заметно заволновались, стали говорить о тех подвохах, от которых не застрахован ни один советский писатель, об интригах и „подножках”, подставлять которые были способны люди, еще накануне причислявшиеся к „своим”.

Сам Маяковский был спокойнее всех. Он тут же напомнил, что под Фермопилами горсточка греков отразила персидские полчища, а когда кто-то стал настаивать на том, что теперь Маяковскому настало время перейти в контратаку и поставить все точки над „i”, он только кисло улыбнулся и отшутился тем, что это невозможно, поскольку десятиричного „i” больше не существует.

Все же Лиля была прозорливее своего поэта. По целому ряду ее замечаний можно было почувствовать, что она лучше него отдает себе отчет в том, что центр тяжести отнюдь не в колючих высказываниях критики, а в том, что эти критические замечания „осмелились” быть колючими, потому что звезда Маяковского начинает закатываться и эпоха обязательных панегириков миновала. Впрочем, может быть, он и сам это признавал и его бравурность была в какой-то мере показной. Говорится же, что „чужая душа — потемки”.

Прошло несколько лет. Маяковский разъезжал по советской провинции с докладами, диспутами, чтением стихов, а кроме того почти ежегодно ездил за границу. Он посетил Мексику, был в Нью-Йорке у старого друга Бурлюка, не раз наезжал в Париж, иногда вместе с Лилей, иногда сам по себе. Для Лили в Париже было много приманок, не входивших в программу каждого туриста — во-первых, у нее была там сестра, во-вторых, покупки. Зато когда Маяковский появлялся в Париже в одиночестве, его тогда можно было часто встретить за игрой на бильярде — он, кстати сказать, был чрезвычайно азартен и играл только на деньги — в той „Клозери де Лила”, которую прославил Верлен, регулярно приходивший туда выпить положенный ему „абсент”.

Но вот в один из „самостоятельных” приездов Маяковского в Париж произошло нечто, никакой программой не предвиденное и от чего Щена не только не сумела оградить как бы служившая ему „гидом” Эльза, но, на свое горе, она была косвенно виновна в произошедшем. Нежданно-негаданно Маяковский „по уши” влюбился, притом — даже жутко подумать — в одну милую и очень эффектную молодую русскую эмигрантку, с которой познакомил его не чужавшая последствий, без вины виноватая

тая Эльза. Парижский роман Маяковского с Т. А. Яковлевой не мог не быть воспринят на Лубянке как угроза его невозвращения.

Удивительно ли, что когда об этом стало известно, да он своего увлечения ни от кого и не скрывал, и ему на следующий год вновь захотелось посетить Париж, для него по-новому привлекательный, в разрешении на выезд из Советского Союза ему впервые было без объяснения причин отказано и всякие его хлопоты оказались тщетными. Стоустая молва тогда упорно говорила, что именно Лиля со своим бывшим мужем (а необходимые для такого шага связи у них, как мы видели, несомненно были, что подтверждают частые визиты в их общую квартиру известного чекиста Я. С. Агранова) в значительной степени содействовали тому, что певца революции больше за границу не выпускали.

Возможно, что этот запрет на выезд, как и совпавшее с ним охлаждение отношений с Лилей (нетрудно догадаться, что Маяковский был хорошо осведомлен о всей подноготной этого запрета — „услужливые” люди повсюду найдутся) сыграли немаловажную роль в его трагическом решении, и хотя в предсмертном письме он не без аффектации взывал к Лиле: „Лилия — люби меня”, строчкой ниже, обращаясь к правительству, уточнял: „Моя семья — это Лилия Брик, мама, сестры (встреч с которыми он всячески избегал) и Вероника Полонская”. Подобное соседство имен в письме-завещании едва ли могло быть Лиле по душе и оттого роль актрисы Полонской в жизни Маяковского была не в меру затушевана. В комментариях к собраниям сочинений Маяковского, в которых Лилия, естественно, принимала непосредственное участие, имя Полонской едва проскальзывает, и, как следует из воспоминания самой Полонской (см. ж. „Контин-

нент'', №№ 29, 30) советское правительство так и не выполнило последнюю волю своего поэта.

Так и получилось — и в этом, конечно, непомерно большая доля ответственности лежит именно на Лиле, — что тот, кому мерещилось триумфальное шествие по жизни, оказался побежденным самой тривиальной, самой „мещанской” из всех возможных жизненных ситуаций. Если прибегнуть к его собственной терминологии, можно заключить, что обыденщина вторглась в щели быта, а она... его Эгерия, его псевдовечная любовь — „взяла, / отобрала сердце / и просто / пошла играть — / как девочка мячиком”. Более точного образа и не придумать.

Впрочем, много-много лет спустя, многое и многих пережив, Лиля и сама ускорила свой конец. Поскользнувшись, она сломала бедро, не выдержала физических мучений и в очень почтенном возрасте прибегла к помощи быстродействующего яда. В этом отчаянном поступке сказывается характер той, которая претендовала быть музой Маяковского.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Ферапонтово

Этюд

Ферапонтов монастырь — одна из крупнейших жемчужин в цепи монастырских ансамблей на северо-западе России, метко названной русским религиозным писателем Андреем Муравьевым „северной Фиваидой”. Он знаменит не только своей историей, но и замечательной архитектурой и фресками великого Дионисия...

По преданию — с горы Мауры, что над Шексной, иноки Кирилл и Ферапонт углядели место для основания новой обители. На месте этом — теперь Кирилловский монастырь. Через некоторое время Ферапонт решил отделиться от Кирилла и основал свой — в нескольких десятках верст от кирилловского, в месте не менее живописном — на холме, возвышающемся над несколькими тонкого абриса озерами... (Кирилловский же ансамбль — на ровном берегу Сиверского озера)... Центральный — Рождественский — храм расписал Дионисий; говорят, что уникально нежный колорит его фресок обусловлен необычайностью технологии дионисьевых красок, якобы приготовленных из местных перетертых глин и озерных камушков... Впрочем, теперь это оспаривается: утверждают, что краски просто естественно пожухли от времени, что обвод-

ка (ныне бледно-палевая) была ярко-багряной, а бледно-лазоревого ныне поля — ярко-синими.

В XVII столетии — в страшные времена раскола, как бы предвосхитившие своим напряженным трагизмом царствование Петра I, — в Ферапонтове был заключен Патриарх Никон. Его келья — возле надвратной церкви, сохранившейся и до наших дней.

После реформ екатерининского времени, нанесших непоправимый удар монастырской жизни, Ферапонтов монастырь хиреет, редкие паломники оставили свои записки о нем (вышеупомянутый Муравьев, проф. Шевырев и др.). Любопытно, что Шевырев даже, кажется, и вовсе не упоминает дионисиевых фресок — вот, воистину, „смотрели и не видели” — древнерусская живопись еще не была „открыта”. Паломники из „народа” шли на Соловки, на Валаам, в Саров — вологодские монастыри оставались на периферии религиозной жизни России. А интеллигенции, естественно, было не до того: революционная борьба, межеумочное просветительство и хандра „дяди Вани” — отнимали все силы. Только в Серебряный век — с Бенуа, Грабарем и другими энтузиастами — культура Древней Руси предстала в своем несравненном великолепии...

В конце XIX — начале XX столетия оживилась и монастырская жизнь в Ферапонтове: из простого прихода снова стал монастырь — теперь женский... В замечательной дореволюционной книжечке местного священника Брильянтова с любовью и нежностью описывается Ферапонтово, возвышающаяся над ним Цыпина гора со скитом, вся округа... Эта библиографическая редкость вряд ли имеется в каком-нибудь из книгохранилищ Запада.

Мать-игуменья была еще молода, энергична и пользовалась в округе любовью. (Я так и не узнал ни у кого из местных ее имени — всего-то сохрани-

лось два-три старожила, которые ее еще помнят...) Когда местные большевики пошли отбирать церковные ценности, мужики организовали оборону монастыря. Одного из приступавших „комиссаров” ранили из ружьишка в ляжку. Это послужило достаточным поводом для расстрела как всех вступившихся за монастырь мужиков, так и игуменьи (а заодно и игумена Кирилловского монастыря). Расстреливали на заре неподалеку от Кирилловского кладбища — что на выезде из кирилловского поселка — в сторону Белозерска.

Местный старожил дядя Саша (контуженный под Кронштадтом, с тех пор не воевавший, из дому не вылезавший и потому уцелевший) так рассказывал мне про это событие:

— Повели их на расстрел. Игумен все молитву читал, а матушка-игуменья вдруг начала тушиться. И вот тушется и тушется. А игумен и говорит ей: „Не тушуйся, мать-игуменья, молись!” Привели к яме и стали стрелять. Матушку убили, мужиков убили, а игумен все молитву читает, хоть стреляют в него чуть не в упор. Кончил молиться и говорит: „Вот теперь убивайте!”

Много попили мы с дядей Сашей чайку с пиленым сахаром да старыми сухарями, много он мне рассказывал...

Кириллову с Ферапонтовым „повезло” — тут не было коммунистического концлагеря (правда, рядом — в Нил-Сорской пустыни — с тридцатых годов областной дурдом).

Соловки от крови заржавели
и Фавор на Анзере угас.
Что бы ветры белые ни пели,
страшен будет их рассказ.

Но не то в обители Кирилла:
серебрится каждая стена.
Чудотворца зиждущая сила
здесь не так осквернена.

Это строки из моего стихотворения, написанного в тех краях в июле 1976 года: я работал экскурсоводом в Кириллове и по несколько раз в неделю бывал в Ферапонтове. Края эти открылись мне во всей их несказанной прелести — в таких местах невольно станешь... „славянофилом”. Но и люди „противоположного направления” дорожат ими: именно в тот же месяц приезжал в Ферапонтово „прощаться” Андрей Амальрик. Не описать природу Ферапонтова: его луга, рощи, блестящие озера и островки... А вид с Цыпиной горы: феноменальная мощь пейзажа, дали, облака, солнце. Там еще пока уцелела... „экология”: мальчишки с засученными штанинами ходят по озерной кромке и собирают в корзину раков, водится некрупная, но вкусная рыба...

Замечательно интересна судьба нынешнего директора Ферапонтовского музея Марины Серебряковой. Профессорская дочь, окончившая биофак МГУ и, кажется, защитившая диссертацию, Марина лет двенадцать назад приехала со своим мужем-художником на лето в Ферапонтово „на этюды”... Муж, нарисовавшись, благополучно вернулся в столицу, а она — осталась. Сначала единственной работницей в Ферапонтовском музее: и сторожем, и смотрительницей, и хранительницей, и экскурсоводом.

Одно дело наслаждаться в сезон ферапонтовскою природой, другое — там з и м о в а т ь: ноябрьская распутица, когда грязь по колено, зимние ветра и метели, носка дров, вечный холод и голод: когда в местный „сельмаг” привозят несколько раз в неделю больше похожий на глину хлеб, и нет ни круп,

ни консервов. И долгая затяжная весна — еще и в мае в бессолнечных местах — снег. Марина все это выдержала (а я, например, зимовал на Соловках только до марта, а в марте „бежал” на самолете в Архангельск), прижилась, местные перестали ее травить как „чужую”, вышла замуж за ферапонтовского то ли столяра, то ли пастуха и родила двух сыновей... Конечно, знает теперь там каждый камень, каждую трещинку в дионисьевых фресках. Последние годы с нею там работает и дочь известного нашего писателя Яшина Наташа... Вот и весь штат.

Приезжал я в Ферапонтово из Кириллова под вечер на местном автобусе, бросаемом из стороны в сторону на страшных вологодских горбылях и ухабах, шел в крайний дом к знакомому старику, за четвертинку он выезжал на лодке на озеро, вынимал сетки с раками, я разводил покуда костерик, кипятил воду (с перцем, лавровым листом и крапивой), закидывал туда выловленных раков... Как было вкусно! И удивительный имбирный закат, и все — все... как бы подготовлено к благовесту. Но мертв монастырь, обшарпаны стены, и только в стороне где-то горланит пьяная молодежь.

Другая картина — зимою: ни озер, ни берегов — снег, снег и снег. Но архитектура еще прекраснее: белое на белом — так изысканно!

В маленькой сторожке возле ворот трещит печка, Марина сидит в столетнем накинутом на плечи бараньем полушубке, на плитке кипятится вода..

В трех километрах от Ферапонтова деревня Емишево, — там у меня знакомая „баба Таня”, во всей деревне три-четыре старухи и ни души больше. Трудно туда добраться — снегу по пояс. Раз недели в две-три одна из бабок тащится с санками по целине в сельмаг за хлебом, ночуют все вместе в одной избе, чтоб топить меньше — с дровами туго.

Большинство домов и в Емишеве и в других почти уже вымерших деревнях куплено столичной элитой: приезжают отдыхать летом... Зимой все закрыто, заколочено, — неслыханная тишина, смерть и покой...

Последний раз я побывал в Ферапонтове осенью 80-го года. Многое изменилось. Все встает на рельсы туристского бизнеса. Провели асфальтированное шоссе прямо из Вологды без петли на Кириллов. Много лет зияла в центре деревни, наполняясь осенью жижей, большая яма — котлован для будущей гостиницы; теперь гостиница была возведена по второй этаж. Скоро конец и тишине, и ракам, и рыбе.

Зато в сельмаге — беднее, чем прежде, такого я еще нигде не видел: единственное имевшееся в наличие спиртное — коньяк... в пивных бутылках с пивной же металлической пробкой...

У Марины седая прядь, муж пьет, надо как-то делить избу, расходиться. Она провела нас в закрытый уже с осени Рождественский храм (я был с писателем Ф. Искандером). Но как-то рассеянно глядели мы на гениальные фрески: то ли не было настроения, то ли мучило похмелье от „принятой” в пути бормотухи. Лил дождь, дорогу развезло, ничто Фазиля не трогало. „А знаешь, в русских церковных луковицах есть все-таки что-то г л у п о в а т о е”, — вдруг сказал он мне. И в ответ я почувствовал в себе раздражение...

Уезжая из Ферапонтова, я все по привычке оборачивался, пока главы Ферапонтова монастыря не скрыл налетающий на нас с боков лес... Вот уж не думал я, что прощаюсь с Ферапонтовым н а в с е г д а.

И теперь не думаю.

21 марта 83, Париж

Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ

**Некоторые вопросы отношений Церкви,
государства и общества
в дореволюционной России**

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на все усилия и насилия, коммунистам не удалось убить память о прошлом. Стремление ее восстановить оказалось сильнее. И чем больше разочарование в настоящем и неверие в обещанный материалистический рай коммунизма в будущем, тем сильнее поиски альтернативного пути и альтернативных ценностей в немарксистской культуре России, культуре, колыбелью которой является христианство в лице исторической Церкви России — православной Церкви — и ее истории. Религиозно-философские и церковно-исторические темы все чаще встречаются в работах самиздата. Этим же темам уделяют много внимания всевозможные неофициальные дискуссионные кружки и религиозно-философские семинары, участников которых (как, например, Огородникова, Пореш, Щипкову и др. членов Московского семинара) власти усиленно преследуют или (как Горичеву, Руткевича и др.) изгоняют за рубеж. Но все же, видимо, эти меры не достигли цели. Для власти оказалось необходимо высказать официальную точку зрения на дореволюционную историю Церкви.

Вот почему в „Вопросах истории” (№ 9, 1982 г.)

появилась многозначительная статья Н. П. Красникова „Социально-политическая позиция православной церкви в 1905—1916 гг.". Многозначительна она тем, что в ней немало правды, хоть и препарированной такими замечаниями, как: Церковь „вынуждена была" сделать то-то, стать на такие-то позиции под влиянием революционного движения, и пр. Подтекст же всегда таков: Церковь по своей природе реакционна, антинародна, была всегда служанкой буржуазии и эксплуататоров... Однако по прочтении этой статьи у читателя создается картина, что в Церкви были не одни лишь „реакционеры", что она и ее духовенство откликались на социальную несправедливость.

Штамп остается неизменным. Церковь изображается владелицей „огромных богатств", в то время как на самом деле она была ограблена еще Екатериной II и относительно была одной из самых бедных Церквей Европы. Утверждается, будто Церковь по собственному выбору „поддерживала внутреннюю и внешнюю политику самодержавия"; а „в годы первой русской революции... была активной контрреволюционной силой".

Ни слова не говорится о том, что еще Петр I лишил Церковь автономии, и она была насильственно подчинена царскому бюрократическому аппарату. Но указывается, что ряд священников-депутатов Думы (Бриллиантов, Колокольников, Тихвинский, Архипов) состояли во фракциях трудовиков и эсеров, и когда Синод приказал им выйти из фракции или сложить сан, они предпочли последнее. Далее мы узнаем, что когда крайне-правый митрополит Московский Владимир (расстрелянный в Киеве в 1918 г.) выпустил епархиальное послание, решительно осуждавшее участников политической стачки в октябре 1905 г., „значительная часть мос-

ковского духовенства” отказалась читать его с амвона и „Синод был вынужден осудить действия московской епархиальной власти”.

По пропагандному трафарету, Красников „знает”, что церковное руководство питало „явные симпатии к черносотенным организациям...”, но „оказалось вынужденным выступать против разгула черносотенцев, наиболее мерзко проявивших себя в еврейских погромах...” И далее приводит имена целого ряда правящих епископов, обращавшихся в епархиальных посланиях к пастве с решительным осуждением погромов.

О чем Красников не говорит, — это о том, что и митрополит Антоний Петербургский (Вадковский), и его викарий архиепископ Сергей (Страгородский) поддерживали и благословляли рабочее движение, что в рабочих районах обеих столиц служили самые выдающиеся священники, развивавшие там широкую благотворительную и просветительную деятельность, собирая большие и щедрые пожертвования в высшем свете Петербурга и Москвы (например, свящ. Боярский в фабричном поселке Колпино под Петербургом, где, по словам А. Левитина, он вел, фактически, народный университет для рабочих).

Умалчивает Красников и о той борьбе в защиту Бейлиса (обвиненного в ритуальном якобы убийстве христианского мальчика), которую вела Церковь. Ее богословы и виднейшие архиереи доказывали несостоятельность обвинения и вообще вымысла о еврейских ритуальных убийствах, с богословской и фактической точек зрения.

Умалчивает Красников и о том, что когда большевики решили расстрелять популярнейшего петроградского митрополита Вениамина, виновного лишь в своей популярности в народе и, в частности, среди

рабочей молодежи, то защитником его на судебном процессе 1922 г. был еврей Гурович, который заявил в своей защитительной речи: „Я счастлив, что в этот... глубоко скорбный для русского духовенства момент я, еврей, могу засвидетельствовать перед всем миром то чувство искренней благодарности, которую питает... весь еврейский народ к русскому православному духовенству за проявленное им в свое время отношение к делу Бейлиса”.

Но самое главное и вполне целенаправленное искажение в работе Красникова — это изображение дореволюционной церковной организации в России как мощной самодовлеющей силы, которая по собственному выбору и вкусу сливается с самодержавием, мобилизуется им для своих политических целей. Принятие несведущим советским человеком этой лжи за действительность может отталкивать его от исторической российской Церкви. Более того, восприятие Церкви как мощной организации усиливает возмущение подсоветского верующего христианина раболепством нынешнего руководства Московской патриархии перед безбожной советской властью. Мысленно проводится параллель, например, с католической Церковью Польши: „Если она может так смело и успешно противостоять коммунистическому аппарату, почему наша православная Церковь так труслива?” — задает себе вопрос современный подсоветский христианин и, возможно, махнув презрительно рукой, порывает с этой Церковью, тем самым ослабляя шансы на симбиоз Церкви и народа, а следовательно, и на ее укрепление в будущем.

Осознание того, что Церковь была как организация сломлена еще Петром I, что последующие цари не давали ей подняться с колен, позволяет в значительной степени понять ее нынешнее положение. На

место раздражения, возмущения и даже злобы тогда приходит *жалость* к епископату и духовенству современной российской Церкви. А жалость привлекает к страждущему, не отталкивает от него, как хотелось бы хозяевам Красникова. Именно — его хозяевам. Ибо Красников как ученый не самостоятельная величина. Это плодовитый сотрудник всех советских профессионально-атеистических изданий. Тон и стиль его меняется в соответствии с генеральной линией наступления на религию. Но поскольку советская печать подняла вопрос о православной Церкви в предреволюционной России, думается, пришло время напомнить: два века Церковь стремилась к восстановлению духовной независимости от правительства. Сначала Великие реформы Александра II, а затем брожение 1902--1906 годов, завершившееся широкими гражданскими свободами и Думой, возродили надежды в церковных кругах, что наступило наконец время и для Церкви возвратить утерянную свободу, однако ни Александр II, ни Николай II не позволили Церкви провести нужные реформы. Как бы ни провозглашали цари себя помазанниками Божьими, благословенными и благоверными православными государями, — на практике, с легкой руки Петра Великого, их отношение к автономии Церкви было совсем иным, чем к автономии общества, которое эти оба государя освобождали от собственной мелочной опеки довольно последовательно. В результате — в революцию и в эпоху богоборческого большевизма Церковь вступила обезглавленной (ведь официально главой ее со времен Петра I был царь!) и не научившейся еще ходить после двухсотлетнего „Вавилонского пленения“, по меткому выражению проф.-прот. Георгия Флоровского, после двухсотлетнего пребывания со связанными руками и нога-

ми, „в крепких объятиях самодержавия, от которых хрупкие косточки ее часто потрескивали”, по образному выражению другого выдающегося богослова нашего времени, проф. Антона Карташева.

Здесь можно было бы и точку поставить, но за всем этим скрывается именно двухсотлетнее потрескивание церковных косточек, о котором и следует поговорить, чтобы понять всю трагедию русской Церкви последних трех столетий и развеять некоторые мифы.

БЕСПРАВИЕ ЦЕРКВИ ПОСЛЕ ПЕТРА I И ДВОЙСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА

„Новизна Петровской реформы не в западничестве, но в секуляризации”, правильно замечает Флоровский*. И действительно, достаточно упомянуть о таких „западниках” XVII века, как Ордын-Нащекин, отправивший своего сына учиться в Краковский университет, но составивший целую докладную записку царю Алексею Михайловичу о том, что нам следует перенять у Запада, а что сохранить собственного, и окончивший свои дни монахом (по собственному желанию); Ртищев, глубоко верующий православный христианин, который на собственные деньги выписывал ученых монахов из Киева и создал в Москве фактически первое полу-высшее учебное заведение, легшее в основу будущей Московской Славяно-греко-латинской академии. Этот список можно было бы продолжить, включив в него и царя Алексея Михайловича, и особенно его сына Федора; можно было бы и приложить длинный перечень нововведений XVII века, чтобы на-

* „Пути русского богословия”, Париж, 1981, с. 82.

глядно показать (это делает, кстати, и Ключевский), что Петр I не был таким уж новатором в вовлечении нас в Европу. Новатором он был в *методике* революционера, сознательно идущего на разрыв, „раскол, не столько между правительством и народом, сколько между властью и Церковью”*

На место самодержавия насаждался полицейский абсолютизм, по идее очень близкий современному нам тоталитаризму, только — перефразируем Герцена — для осуществления тоталитаризма недостаточно Чингисхана (то бишь „благочестивейшего государя” Петра I), необходим и телеграф (которого у Петра I еще не было), чтобы контроль над страной и порабощение ее граждан довести до совершенства. И тут мы процитируем данную Флоровским замечательную формулировку идеи петровского полицейского государства:

„Государство утверждает себя самое как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий... и всякой деятельности или творчества. Все должно быть государственным... У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел... Полицейское государство есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность... Не только политическая, но и религиозная установка. „Полицеизм” есть *замысел* построить и „регулярно сочинить” всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради „общей пользы” или „общего блага”... И учредить предлагается... всеобщее... „блаженство”... В своем попечительном вдохновении „полицейское государство” неизбежно оборачивается против Церкви... Государство отбирает... на себя ее собственные задачи. Берет

* Там же, с. 83.

на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа...”*

Таким образом, священник, духовное лицо, даже при исполнении своих пастырских обязанностей перестает быть самим собой или служителем Церкви как самостоятельного понятия с отличной от государства преемственностью и иерархией, а становится всего лишь служащим правительства, назначенным царем для выполнения определенных функций, для доведения до народа распоряжений и поручений правительства. Неудивительно поэтому, что одно из постановлений Петра I, входившее в „Полное Собрание законов Российской Империи” (но не в „Свод”), требовало от священника донесения полицейским властям о каждой исповеди, раскрывавшей мятежные или противоправительственные помыслы исповедника**. Естественно, что моральный престиж Церкви как института и духовенства как пастырей, как духовных руководителей народа, начал катастрофически падать в послепетровскую эпоху.

Петр I со своим верным советником Феофаном Прокоповичем попытался ни больше ни меньше, как насадить сверху в России протестантскую реформу. „Духовный регламент” Прокоповича — это именно программа замены православия протес-

* Там же, с. 83.

** Согласно канонам, за разглашение тайны исповеди духовное лицо низвергается из сана. Поскольку по присяге все духовенство обязывалось это делать (хотя, по-видимому, большинство духовенства все же не выполняло этого обязательства, — но тогда оно было виновно в даче ложной присяги), то пуристы могут утверждать, что вся послепетровская русская Церковь была неканоничной, а следовательно — неканоничны и ее таинства, и все духовенство, вышедшее из нее, в какой бы юрисдикции оно в наши дни ни находилось.

тантизмом с его полным подчинением верховному правителю страны, по Аугсбургской конфессии: „Cujus regio, ejus religio”, — т. е. „какой государь, такова и религия” в стране*, и государь — „хранитель обеих скрижалей”. Этот памфлет-закон полон желчи, ненависти и презрения по отношению к духовенству и Церкви. Он прямо говорит о необходимости лишить высшее духовенство в стране реальной власти в Церкви, ибо при наличии „собственного правителя духовного... простой народ... великою высочайшего пастыря честью и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть то второй Государь, самодержцу равносильный или больший его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство”. Необходимо, говорит далее Прокопович, подорвать в народе „высокое мнение” о духовенстве, ибо когда народ увидит, что высшее церковное управление „монаршим указом и сенатским приговором установлено есть, то и паче пребудет в кротости своей, и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного”.

Более того, играя этимологией слова „епископ”, что значит по-гречески „надсмотрщик”, Прокопович говорит, что царь имеет право быть не только епископом, но и „Епископом епископов”, и далее утверждает, что никакой такой духовной власти не существует, а есть только одна власть — монарха**.

Естественно, что в этих условиях Церковь как институт превращается в бесправного исполнителя всех требований государства, причем государства крепостнического, в котором в течение всего

* Отсюда, кстати, логически вытекает, что поскольку после 1917 г. „государство” — атеист, следовательно и народ должен быть таковым.

** Ф л о р о в с к и й, там же.

XVIII века правовое положение крестьян все ухудшалось*. Это положение еще более усугубилось с тех пор, как Екатерина II отобрала у Церкви поместья и села (принадлежавшие, в основном, монастырям), „возмещая это ежегодным денежным пособием в размере примерно 10% того дохода, который Церковь получала до этого от отобранных имений. Эта субсидия значительно увеличивается лишь в конце XIX века, но и тогда остается лишь небольшой долей того, что Церковь имела бы, сохрани она за собой прежние имения. К моменту революции Церкви все еще недоставало примерно 60%—70% денежных средств, необходимых для обеспечения духовенства скромным жалованием, которое освобождало бы его от необходимости материально зависеть от прихожан.

Сегодняшний читатель может возразить: если реформа Петра подменила православие лютеранством по структуре и государственно-церковной идеологии, почему же в протестантских государствах Церковь занимала более видное духовно-общественное и богословско-просветительное значение и в XIX и в XX веках, чем у нас? Такая постановка вопроса не совсем верна. Во-первых, протестантизм

* Крепостные отличались от рабов тем, что они платили государственный налог и что формально помещик не имел права на жизнь и смерть крепостных. Разница была также в том, что ни крепостные, ни дворянство, в общем, не признавали крепостничество за рабство, поэтому в подавляющем большинстве случаев в человеческом плане отношения были более человечными, особенно в XIX веке, когда помещики проводили больше времени в своих имениях, чем до освобождения их от обязательной и почти пожизненной государственной службы в 1762 г. Именно при жизни в селе, бок о бок с крестьянами, у помещиков начали зарождаться мысли о несправедливости крепостничества; постепенно подготавлилась почва для освобождения крестьян.

делится на государственные религии (прежде всего, лютеранство, англиканство, шотландское пресвитерианство и кальвинистские Церкви Голландии, Швейцарии, Венгрии...), которые прошли два этапа за последние два века: 1. Приспособление к секулярному веку, превращение из Церкви в систему „нормативного христианства”, где упор делается на христианскую нравственность в личных и общественных отношениях и на благотворительность, из нее вытекающую, но личность Христа, богословские вопросы богочеловечества, истины Воскресения Христова и т. д. — оттираются на задний план, как что-то второстепенное и необязательное для христианина. Дело доходит фактически до некоего „христианского” атеизма с провозглашением „смерти Бога” немецким лютеранским пастором Боннхёфером и английским епископом Робинзоном Вуличским*. 2. Логично, что такое размывание христианства с изъятием из него самой сердцевины и глубинного смысла его не может пройти даром, и в наше время, под влиянием торжества материалистического и плюралистического нравственного релятивизма в западных странах (мы не говорим о странах коммунистических, где тот же релятивизм облекается в псевдорелигиозные формы и столь явен и агрессивен, что вызывает естественные реакцию и противодействие), эти государственные протестантские Церкви явно распадаются: для релятивистской этики их „нормативное христианство” просто не нуж-

* В православии такое половинчатое христианство невозможно, отсюда и отлучение Льва Толстого, отрицавшего божественность Христа и переделывавшего Евангелие, чтобы, по собственному его выражению, Христа превратить в материалиста. См. Архиеп. Иоанн (Шаховской). К истории русской интеллигенции (революция Л. Толстого). Нью-Йорк, ИХОУС, 1976, сс. 40-145.

но, а для подлинно верующих, видящих плоды релятивизма, — оно недостаточно.

Но вторая часть протестантизма состоит из всевозможных евангелическо-фундаменталистских (баптизм, пятидесятничество, адвентизм и пр.) или из фанатично-крайних сект (иеговисты, мормоны, у нас — хлысты и пр.). Они никогда не были связаны с государством и не утверждали зависимость собственной веры от веры государя. Они-то как раз сейчас растут и на Западе, и в Третьем мире, и у нас, в России. И к ним „Духовный регламент” не имел никакого отношения.

С другой стороны, судьбы русской православной Церкви после Петра I несравнимы с судьбами протестантизма на Западе потому, что „Регламент” по всему своему духу, целям и задачам был настолько чужд не только вселенским церковным канонам, но и духу и традициям православия и всей русской культуре и народным представлениям о Церкви, возвращенным церковными традициями и учением, что он так никогда органически и не привился. Именно благодаря этой его чуждости, петровская церковная реформа так и осталась до конца не осуществленной. Все это синодальное церковное устройство было чем-то промежуточным, никогда органически не сросшимся с русским церковным сознанием.

С одной стороны, Церковь как таковая смотрела на синодальное устройство как на что-то временное и мечтала о восстановлении патриаршества. Ее видные архиереи и богословы подавали прошения об этом и при Елизавете*, и при Екатерине II, и при

* См.: А. Молчановский. Два проекта восстановления патриаршества в России в XVIII веке (1742 и 1744 гг.). „Журнал Московской патриархии”, 1944, № 12, сс. 52—58.

Александре II, и при Николае II. За осуждение синодальной системы многие представители Церкви подвергались государственному гонению, особенно в XVIII веке*. О сопротивлении Церкви петровскому насилию над собой говорят правила, приложенные к „Регламенту”, которые запрещают монахам держать в кельях какие-либо письма, выписки из книг „без собственного ведения настоятеля”**.

С другой стороны, в глазах народа Церковь — как учреждение — все более (особенно с распространением грамотности, а с нею антицерковной агитации учителей-народников среди народа, начиная со второй половины XIX века) превращалась в правительственный аппарат давления и даже подавления, не имеющий обратной связи, т. е. путей к прямому „печалованию” за народ перед гражданской властью, как то было во времена патриархов; такое положение, кстати, отлично сформулировано в той кощунственной присяге, которую до 1901 г. должен был приносить каждый епископ, вступающий в должность в Синоде. Он присягал, что „крайним судиею Духовной сей Коллегии” является Монарх Всероссийский и „Всемилоостивейший Государь”, а не Христос-Бог, как утверждают все церковные каноны.

Именно потому, что органически Церковь никогда не признавала эти правила и законы естественными и окончательными, царское правительство, по-

* Напр., архиеп. Арсений Мациевич, замученный в 1772 г. в Ревельском каземате за критику ограбления Церкви Екатериной II.

** Конечно, это распоряжение не руководствуется заботой о духовной сосредоточенности монахов, ибо тот же регламент говорит о тщетности монашества как такового: „А что говорят молятся, то и все молятся. Что же прибыль обществу от сего...” См.: Ф л о р о в с к и й, указ. соч., сс. 102—103.

скольку оно их не отменяло, не доверяло Церкви и поэтому не давало ей даже тех свобод, которыми пользовались полностью и органически „цезарепапистские” протестантские Церкви Запада. Иными словами, будучи в пленении своем парализованною государством, православная Церковь была лишена даже тех возможностей деятельности, которыми располагали ее протестантские собратья на Западе, чем вызывала нарекания несведущего общества, обвинения в бездеятельности, раболепстве перед властью и паразитизме.

ДУХОВЕНСТВО, ЕГО ПРОСВЕЩЕНИЕ И МЕСТО В ОБЩЕСТВЕ

Часто ссылаются на невежество русского духовенства как на причину всех этих суровых и революционных мер Петра I — Прокоповича; любит на мнимое невежество и отсталость ссылаться и сам Прокопович. Но посмотрим, подтверждают ли это факты.

Первое постановление о создании сети высших учебных заведений (повышенной ступени — при архиерейских домах и элементарных — у приходских священников) принадлежит не государственному собору 1550 г., а Освященному (церковному) Стоглавому Собору 1551 г. Старческие и сиротские приюты, больницы и странноприимные дома существовали при монастырях по крайней мере с XV века, и только в царствование Алексея Михайловича государство наконец обращает внимание на этот вопрос, выпустив постановление о выделении средств — пополам с Церковью — на развитие и содержание этих благотворительных учреждений. Только при Екатерине II государство впервые берет

всю заботу о благотворительности и больницах на себя, отобрав их у Церкви вместе с церковно-монастырскими имениями. Причем перенятие этой функции государством привело сразу к резкому ухудшению положения опекаемых. Все общеобразовательные учебные заведения развиваются в Москве и других городах (например, Новгороде) в XVII веке при церквях, монастырях; преподает в них духовенство — как свое, так и греческое и киевское. Первый московский вуз — Славяно-греко-латинская академия, — а за ним и подобное учреждение в Новгороде, комплектуются исключительно духовенством, как привозным, так и местным. Причем, всё это школы всесословные, а когда в XVIII веке правительство начинает создавать государственно-светские школы, они создаются как строго сословные учебные заведения, сначала для дворян, затем уже в следующем веке появляются *отдельные* школы для других классов. Накладывает послепетровское правительство свою руку и на духовные училища и постепенно, против воли духовенства, превращает их тоже в сословные, только для детей духовенства, закрывая при этом — во второй уже половине XIX века — доступ для них в светские общеобразовательные училища и, наоборот, запрещая детям мирян поступать в семинарии. Таким образом, именно правительство, а не Церковь превращает духовенство в обособленную, изолированную от всего общества касту.

В XVIII веке государство еще не может себе позволить так изолировать духовенство: ведь духовенство и духовные учебные заведения в то время — почти единственный источник образования и просвещенности. Как это ни парадоксально, но гражданские школы Петра Великого — от цифирных до Петербургской академии и при ней „университета”

и гимназии — хиреют сразу же по их открытии и никакие насилия не могут удержать в них учеников из дворян и даже разночинцев. А вот семинарии и Московская академия (Новгородскую, которая отказывалась латинизироваться, насильственно закрыл Феофан Прокопович), несмотря на их насильственную латинизацию и чуждость московскому духовенству, развиваются, и духовная школа быстро распространяется по России. Это были общеобразовательные школы, только последний класс в них был богословским. До этого класса большинство учащихся не дотягивало, как говорит Флоровский, совсем не по неспособности — часто как раз наиболее интеллектуально живые бежали от сухой латинской схоластической зубрежки. Но дело было еще и в том, что послепетровское правительство рассматривало духовенство и его детей как мобилизованное служилое сословие и периодически приказывало Синоду выделить столько-то десятков студентов из семинарий в медицинские академии и факультеты, столько-то разослать по стране для преподавания в новооткрываемых светских школах (эпоха Екатерины II и Александра I), столько-то отправить в новоучрежденную Петербургскую учительскую семинарию, позднее переименованную в Педагогический институт. Людей с достаточной интеллектуальной и учебной подготовкой для всех этих просветительских целей можно было найти только в среде духовенства — не из Кадетского же корпуса их было брать: там учили манерам и танцам вперемишку с муштрой и французским языком, но не прилежанию к наукам и к самому процессу познания*. К примеру, весь первый набор слушателей

* Кстати, Закон Божий в светских школах России вообще не преподавался до 1832 г. А когда его ввели, учителя тан→

в Учительскую семинарию состоял из 165 молодых людей из духовных семинарий; а из 400 педагогов, подготовленных этим вузом между 1782—1801 гг., более 300 были бывшими семинаристами. Студенческие контингенты и Московского и Казанского университетов первые десятилетия их существования комплектовались почти исключительно семинаристами, выделявшимися Синодом по требованию правительства из духовных семинарий. Из 64 преподавателей МГУ на конец XVIII века приходилось 33 иностранца, 22 — бывших семинариста, 11 — остальных. Как известно, лучшие наши историки, в том числе и Соловьев и Ключевский, вышли из семинарий. Такая картина наблюдается во всех вузах и факультетах страны до 1830-х гг., когда, наконец, идея высшего образования перенимается и светскими сословиями*. Государственная бюрократия, особенно секретари и референты, были в XVIII веке сплошь семинаристами (продолжая старую традицию приказных дьяков), самым знаменитым среди которых стал, конечно, М. Сперанский.

Итак, без малейшего преувеличения можно сказать, что самым образованным классом в России XVIII и первой половины XIX вв. было духовенство. Недаром наша разночинная интеллигенция тоже вышла в основном из семинарий и духовных семей (Белинский — внук священника, сын врача из

цев и фехтования в школах оплачивались по гораздо более высоким ставкам, чем преподаватели Закона Божия. См.: Свящ. Н. П. Антонов. Русские светские богословы и их религиозно-общественное мирозерцание. С.-Петербург, 1912, с. XXVII.

* Более подробные данные см. у Роберта Л. Николса, „Orthodoxy and Russia's Enlightenment” в сборнике „Russian Orthodoxy under the Old Regime”, п./ред. Р. Николс и Т. Ставр-у. Миннеаполис: изд. Миннесотского ун-та, 1978.

минаристов; Добролюбов, Чернышевский и пр., и пр. — семинаристы, дети священников).

Но это самое образованное сословие страны пребывало в самом — для своего культурного уровня — приниженном состоянии. Все было сделано так, чтобы духовное лицо и его семья чувствовали себя инородным телом в послепетровской России. До 1830-х гг. преподавание в семинариях и духовных академиях велось на латинском языке, в то время как признаком светской „культурности” было знание французского. Когда просвещенный архиепископ Платон Лёвшин был назначен в Тверь в 1770 г. и застал преподавание в местной семинарии на русском языке (по характерной иронии, его ввел ректор-серб Макарий Пётрович), он приказал вернуться к латинскому, разъяснив: „Наши духовные и так от иностранцев почитаются неучеными, что ни по-французски, ни по-немецки говорить не умеем... Ежели же и латинскому так учиться, как греческому, то и последнюю честь потеряем...”^{*} Когда русское общество начало переходить уже на русский язык, в духовных учебных заведениях продолжал еще господствовать латинский до такой степени, что лекции, которые уже постепенно начинали читать и в семинариях по-русски, студенты записывали по-латински; а проповеди свои составляли сначала на латыни, а потом переводили на русский. После такой школы, где главным языком была латынь, а вторым славянский с малороссийским произношением, т. к. семинарскую традицию в России создали ученые монахи из Киева, — выпускник семинарии на всю жизнь отличался своим говором, произношением, словарем, оборота-

^{*} Ф л о р о в с к и й, с. 112—113. Имеется в виду плохая постановка преподавания греческого языка.

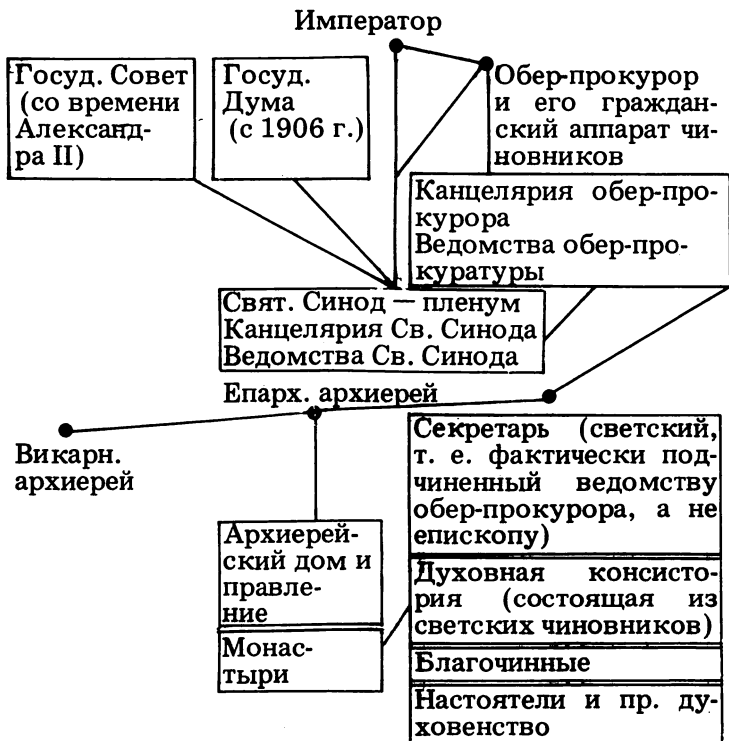
ми речи от светского „просвещенного” общества и, конечно, от крестьянства*. Вот молодой человек оканчивал семинарию, рукополагался и отправлялся на какой-то сельский приход, где всем заправлял какой-нибудь помещик, скорее всего отставной военный, вольнодумец, быть может, вольтерьянец, обязательно бритый, а то и в парике. Один вид батюшки у него вызовет в лучшем случае презрительную усмешку, и такое же отношение. Учился этот батюшка, много лет изучал латынь, а на приходе ему на жизнь зарабатывать надо крестьянским трудом — обработкой участка земли и хозяйства, принадлежащего приходу. Так и становится он каким-то неприкаянным: крестьянин не крестьянин, но и не мещанин, не купец и не барин. Отсюда и поговорки, вроде: „Курица — не птица, прапорщик — не офицер, попадья — не дама”.

А поверх всего — бесправие. Если дворянам и купцам со времен Екатерины II предоставляются разные формы самоуправления, которые значительно расширяются и распространяются и на другие сословия в эпоху Великих реформ, то духовенство продолжает оставаться бесправным сословием фактически до последних дней Российской Империи. В Синоде всем заправляет царский чиновник-мирянин, обер-прокурор. Не лучше было и в епархиальных консисториях: с одной стороны, епископов было слишком мало для такой огромной страны и епархии были такими колоссальными, что правящий епископ не мог вникать в подробности их уп-

* В связи с этим в течение всего XVIII и первой трети XIX вв. русский богословский язык не только не развивался, но хирел и был исключительно терминологически беден, говорит Флоровский, на нем было крайне трудно выражать современную мировую богословскую и религиозно-философскую мысль.

равления; с другой стороны, подлинными хозяевами-распорядителями были консисторские чиновники, ставленники обер-прокурора. Именно перед ними, перед их произволом рядовой священник дрожал и был бесправен*. А епископов Синод, к тому

Управление Церковью между 1824-м и 1917-м гг.



* См. прилагаемую схему синодальной системы административной иерархии. Схема составлена по таблице „Д”, с. 698 в книге Игoря С м o л и ч а „Geschichte der Russischen Kirche”, 1700—1917, т. 1. Лейден, 1964.

же, по распоряжению обер-прокурора (формально — царя), все время перемещал с кафедры на кафедру, чтобы не засиживались, не закреплялись, чтобы, Боже упаси, не развилось внутренней церковной инфраструктуры. Следует заметить, что административные перемещения архиереев (как, впрочем, и священников) противоречат всем церковным канонам, которые говорят, что епископ брако-сочетается своей епархии на всю жизнь.

По словам митр. Евлогия, положение архиерея в старой России было втроене бесправным и ложным. С одной стороны, он жил в роскоши (заперт в золотую клетку, как говорит митр. Евлогий), с другой стороны, он не имел права без запроса разрешения у Синода даже отправиться по своему усмотрению в миссионерскую поездку по своей епархии. В глазах посторонних мирян, которые часто ставят знак равенства между богатством, роскошью и властью, епископ казался всемогущим; на практике он был связан по рукам и ногам и был бесправен, даже заседаая в Синоде. По словам митр. Евлогия, „Синод не имел лица, голоса не мог подавать и подавать его отвык. Государственное начало заглушало все. Прима́т светской власти подавлял свободу Церкви сверху донизу: архиереи зависели от губернаторов и должны были через священников проводить их политику...”*

И это речь уже идет о Думской эпохе. Но прежде чем обратиться к ней, следует коснуться того периода, который непосредственно ей предшествовал: условно — от эпохи Великих реформ до 1905 г.

* Митр. Е в л о г и й. Путь моей жизни. Париж, „ИМКА-Пресс”, 1947, сс. 195—231.

НАКАНУНЕ: ЦЕРКОВЬ В ВЕК СДВИГОВ И ПРОГРЕССА

Казалось бы, миновала наша темная пора приглаженного невежества XVIII века, по словам Ключевского, вшивый западноевропейский парик считался признаком культуры, а естественные волосы и борода, при которых грязь не скроешь, — признаком дикости и невежества. На смену тяге общества к блистательным, но пустым вольтерьянцам пришла тяга к подлинным культуре и просвещению и даже к настоящим духовным поискам. Взять хотя бы свободное богословствование и религиозное философствование славянофилов всех мастей и оттенков, всколыхнувшихся на вопрос Чаадаева: каков Божий замысел в отношении России?

Да и Церковь, хоть и примороженная Петром I и ограбленная Екатериной II, на месте не стояла. Начало XIX века дало замечательного митрополита Филарета (Дроздова), развитие миссионерства в Сибири, на Дальнем Востоке и, наконец, миссию свв. Германа и Иннокентия на Аляске... В 1830-х годах семинарское и академическое образование наконец переходит на русский язык. Прославляется на всю страну Оптина пустынь с ее замечательными старцами и просветителями, возрождающими учение святых отцов Церкви — живительные струи подлинного православия, которые постепенно начинают высвобождать его мысль и дух из пут протестантско-католического рационалистического пленения. Как известно, почти все русские мыслители и литераторы XIX и начала XX века соприкасались с Оптиной пустыней и большинство их ею вдохновлялось и просвещалось, оправославливалось. Нельзя сказать, что это святоотеческое пробуждение прошло мимо официального православия. Нет, к концу

прошлого века оно начинает влиять и на академическое богословие, начинает возрождать и оживлять его, о чем говорит подлинное богословское и, еще важнее, духовно-подвижническое и пастырское пробуждение во всяком случае в Московской, Петербургской и Казанской академиях в годы преподавания и управления в них таких молодых архимандритов и епископов (а позднее — митрополитов), как Антоний (Вадковский), Антоний (Храповицкий), Сергей (Страгородский) и их последователей. Однако это лишь вспышки ярких звезд на темном небосклоне по-прежнему закрепощенной и, хотя и не так тесно, как в первое послепетровское столетие, но все же зажатой в тиски Церкви. Характерно, что эти живительные струи шли не из сердцевины Церкви, не от ее формального руководства — Синода, не из ее высших учебных и исследовательских центров — академий, — а с краев ее: недоучившийся в Киевской академии инок Паисий Величковский уходит на Афон, там становится самым популярным старцем с более чем 700 учеников; затем из монастыря в Молдавии через своих учеников распространяет, возрождает старческую традицию в России. Его ученики воссоздают Оптину пустынь и ее святоотеческую традицию. К ним обращаются и Киреевский, и Хомяков, и Аксаков, и В. Соловьев, и Достоевский, и Леонтьев. И эти миряне влияют на возрождение подлинного православного богословия в академиях, а не наоборот, как должно было бы быть.

Но положение всей Церкви оставалось очень печальным. С развитием и ростом светского образования в XIX веке, образование семинарское стало прогрессивно отставать, а вернее — оно заскорузло в своем мертвом школярстве; да и материально семинариям не на что было развиваться после грабе-

жа Церкви Екатериной II. Духовенство, семинарии и семинаристы бедствовали. Педагогический персонал духовных учебных заведений был самым низко оплачиваемым. Так, если екатерининский вельможа презирал батюшку за „отсутствие парика и французского языка”, то просвещенный дворянин середины XIX века, даже если он весьма благочестив, не знает, как принять священника, куда его посадить и как с ним разговаривать: с одной стороны, он весьма эрудирован и начитан, с другой стороны, он весь какой-то „другой”, и манерами, и говором, и познаниями из какой-то другой эпохи, да еще и ужасно беден. Вот и продолжают они жить врозь: „просвещенное общество” само по себе, а „духовное сословие” само по себе.

Правда, понятие „просвещенное общество” значительно меняется где-то около середины XIX века, и даже несколько ранее: помимо дворянства в него вливаются разночинцы. Вначале это почти исключительно те врачи, педагоги, профессора, которых со второй половины предыдущего века Синод переправлял „по разнарядке” от правительства из семинарий в университеты, — и их сыновья, а также бывшие семинаристы, не пошедшие в священство. Казалось бы, вот тут и произойдет наконец долгожданная смычка интеллигенции (или просвещенного общества) и духовенства, и вместе они составят единый фронт борьбы общественности за реформы. На самом деле наблюдается обратный процесс. Семинария в XIX веке окончательно становится сословной школой. С одной стороны, нищее, по сути дела, духовенство не в состоянии учить своих детей нигде, кроме семинарий с их бурсами для значительной части детей духовенства, с другой — в семинарии доступ детям из других сословий почти совершенно закрыт. Иными словами, при свободе выбора очень

многие семинаристы были бы не в семинариях, а в светских школах. С другой стороны, немало верующих детей из семей других сословий с удовольствием бы учились в духовных школах и принимали бы впоследствии сан, да их не пускали. В результате, атмосфера в семинариях была далеко не духовной. Вот как описывает митр. Евлогий Владимирскую семинарию в годы его инспекторства там (1895—1897): „Была коренная фальшь в участи моих воспитанников. Молодежь, в большинстве своем стремившаяся на простор светской школы, втискивалась в учебное заведение, весь строй которого был церковный. Придешь, бывало, на молитву — в огромном зале стоят человек 300—400, и знаешь, что 1/2 или 1/3 ничего общего с семинарией не имеет: ни интереса, ни симпатии к духовному призванию...”*

И действительно, из 2.148 выпускников семинарий 1911 г. к 1913 г. только 574 приняли сан**. А в стране было 48.000 приходских храмов, не считая монастырских, больничных и прочих, и почти 60 тысяч духовенства (не считая монахов и монахинь). Православных мирян числилось к тому времени официально 115 миллионов, т. е. храмов и священников уже было недостаточно для полного окормления такой массы мирян, да еще разбросанных по такой громадной территории. Допустим, что средний возраст рукополагаемого в священники был 27—28 лет и что он затем служил в среднем лет 35. В таком случае, даже если предположить, что семинарский выпуск постепенно рукополагался в тече-

* Цит. соч., с. 84 и пр.

** См. мою рукоп. „The Russian Church and the Soviet Regime (1917—1982)”, vol. 1, chapter 2 (изд.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1983).

ние лет пяти по окончании образования и допустить, что общая численность священников от семинарского выпуска доходила до 800, а не 600 человек, то все равно в нашей экстраполяции общее число священников в империи, исходя из этих цифр, лет через 35 сократилось бы до 28 тысяч. Но на самом деле положение с кадрами было совсем не так трагично. Тот же митр. Евлогий описывает создание по всей России многочисленных краткосрочных пастырских курсов в последние предвоенные годы, на которых псаломщиков, регентов, чтецов и просто благочестивых мирян „натаскивали” к рукоположению помимо семинарий. Значит, не будь этого кастового разделения, большинство семинаристов, которые не собирались идти в священники, перешли бы в светские средние школы, а их места заняли бы благочестивые и верующие юноши из других сословий. Тогда и дух в семинариях был бы совсем другим, а не тем грубым, циничным, бунтарским, нигилистическим, с пьянками и даже преступлениями, о которых пишет митр. Евлогий. Хорошо подготовленных кандидатов в священство было бы достаточно, и средний духовный и интеллектуальный уровень священства был бы совсем другим. Недаром в трех больших фолиантах „Отзывов Епархиальных архиереев о церковных реформах” (плюс том приложений), собранных Синодом и отпечатанных в 1905—1906 гг., нередко предложения начать с закрытия всех семинарий и создания новых богословских школ на совсем других началах, открывая их по монастырям и тем селам и городкам, где сохранилось еще благочестие, куда меньше проник нигилистическо-революционный дух атеизма.

Но мы отклонились от темы, чтобы показать, что струя разночинской интеллигенции из семинарий совсем не означала сближение светской интеллиген-

ции с духовенством, а тем более с Церковью. Шли-то в ее ряды именно те семинаристы, которые порывали со своей средой, неверующие или, во всяком случае, не церковные, и не просто не церковные, а в основном воинственно антицерковные, озлобленные против того института, который их приковал на столько лет к семинарии, где они должны были кривить душой и притворяться благочестивыми, чтобы их оттуда не выкинули раньше времени. Эта озлобленность усугублялась еще тем, что уже упомянутые нами особенности семинарского образования накладывали на воспитанников отпечаток на всю жизнь, благодаря которому бывшего семинариста долго еще можно было отличить от интеллигента, окончившего светскую школу, что вызывало в светской среде несколько ироническое, насмешливое к нему отношение.

Но, с другой стороны, семинарист — как никто другой, быть может, — нес с собой в „просвещенное общество” бунтарский дух борьбы за социальную справедливость, острое чувство и опыт социального неравенства, угнетенности. Митр. Евлогий — сын многодетного сельского священника — так описывает свое детство. Отец был священником по призванию, начал свое пастырство на селе идеалистом, в проповедях укорял кулаков-целовальников, наживавшихся на бедняках. Но затем пошли дети, стало нужно доставать деньги на их образование. Пришлось брать займы у того же кулака, все больше от него зависеть. И не мог отец уже укорять его в проповедях; чтобы задобрить кулака, его приглашали в дом: „Заготовляли чай, водку и угощение и для отца начиналась пытка. С тем, кого следовало обличать, приходилось говорить ласково... Отец унижался, старался кулака задобрить, заискивал... Тяжелые впечатления раннего моего детства заста-

вили меня еще ребенком почувствовать, что такое социальная неправда. Впоследствии я понял, откуда в семинариях революционная настроенность молодежи... Забитость, униженное положение отцов сказывалось бунтарским протестом в детях...»*

Добавьте к этому дух времени: начиная с 40-х годов, проникновение в Россию социалистических и позитивистски-атеистических течений с Запада, которые расцвели особенно буйным цветом в 1860-х — 1890-х гг., с распространением марксизма, — и вы поймете, что основное направление интеллигенции быстрыми шагами удалялось от Церкви. Обстоятельства отнюдь не способствовали выходу духовенства из того гетто, в которое загнал его Петр I.

Неправильно, однако, всю вину за церковный застой XIX века сваливать на мирян и государство именно этой эпохи. Ведь с 1856 г. начинается эпоха Великих реформ, гласности. И вот, может показаться, что Церковь недостаточно воспользовалась возможностями, которые впервые открывались со времени петровского ее закабаления. И действительно, епископат оказался настолько проникнут католическим клерикализмом, которым пропитывалось русское духовенство в семинариях уже почти два столетия, что и о соборности к тому времени он мыслил больше как о сословно-профессиональной, а не общеправославной совещательности. Церковь, которая на протяжении всей своей истории управлялась соборами, от которых выплывали и Земские соборы в XVI веке**, Церковь, в которой кан-

*Там же, сс. 14—15.

** На генезис Земских соборов от церковных указывает и советский историк А. А. З и м и н (см., напр., его „Зарождение земских соборов” в „Ученых записках Казанского гос. пед. института” 1969 г., вып. 71). Таким образом, Рос-

дидаты в священство выбирались приходскими собраниями мирян-прихожан еще даже до конца XVIII века, — теперь, во времена Александра II, в лице своего ведущего епископата, сопротивляется идее возрождения самостоятельного и самоуправляющегося прихода. Дело в том, что с послепетровской бюрократизацией Церкви приход как первичная самоуправляющаяся церковно-общественная единица исчезает в России. Да разве мог существовать прочный внесловный приход при разгуле крепостничества? И вот, в 1858 г. замечательный русский миссионер — просветитель туземцев Дальнего Востока и Аляски, св. епископ Иннокентий, совместно с дальневосточным губернатором Муравьевым, вводит систему самоуправляющихся приходов с выборными церковными советами и членскими взносами прихожан на Дальнем Востоке. Одной из непосредственных целей этой системы было прекращение пагубной практики мздовзимания священниками за исполнение треб и обеспечение приходских священников более прочной материальной базой для существования. Но, конечно, такой замечательный пастырь и духовник, как св. Иннокентий (будущий митрополит Московский и создатель Российского Миссионерского общества, ведавшего, в частности, православным делом в Америке, Японии, Китае и среди туземцев Сибири и Средней Азии), стремился этой реформой также возродить понятие соборности в народе, тесную связь между священником и прихожанами, самосознание прихода как изначальной христианской общины. И вот, хотя пер-

сия обязана зарождением парламентского начала в государственности „отсталой” и „ретроградской” Церкви, а „просвещенным” западникам Петру I и Прокоповичу — удушением этих начал, принесенным с Запада бюрократическо-абсолютистским деспотизмом!

воначально епископы, заседавшие в Синоде, одобрили эту местную приходскую реформу, когда она начала распространяться на губернии Западного края и Новороссии, епископат запротестовал и фактически задушил приходскую реформу, хотя она и стала одним из основных пунктов программы реформ, выдвинутых Предсоборным присутствием 1906 г. Возражения епископов 1860—1870-х гг. вызваны опасением захвата власти в приходах мирянами, потери авторитета пастыря и пр.* Иными словами, враждебность и чуждость Церкви послепетровской мирской цивилизации настолько уже въелась в мышление высшего духовенства, что оно перестает смотреть на Церковь как на единое тело духовенства и мирян, в котором, по словам апостола Павла, каждый христианин „есть царственное священство”, а видит в мирянах чуть ли не потенциальных врагов или, во всяком случае, соперников.

Притупление православного мышления сказывается и на участии судебных реформ. Вместо того, чтобы воспользоваться alexandrovskimi судебными реформами и возбудить вопрос о восстановлении канонического права в Церкви, восстановлении соборного начала в церковных судах вместо неканонической судебной власти обер-прокурора и его бюрократических чиновников, епископату просто „спускаются” правительственные предложения распространить alexandrovskuyu светскую реформу суда и на Церковь, сохраняя прокурорско-консультаторскую структуру. Естественно, епископат протестует против этого, решительно говорит „о незаконности и вреде обер-прокурорской власти”, но ничего конкретного не предлагает взамен, как бы

* Вопрос о приходской реформе в царствование имп. Александра II. Петроград, Синодальная типогр., 1917.

забывая о „самом существовании независимой церковной юрисдикции”, о том, что реформа церковного суда должна проводиться не „по указу Императорского Величества”, а „из начал живого канонического самосознания Церкви...”

Критика со стороны Церкви механического перенесения светской правовой реформы на Церковь без каких-либо конструктивных контрпредложений и настояний привела к тому, что „воз остался и ныне там” до 1917 г. На фоне реформированных гражданских судов церковные выглядели каким-то неуклюжим анахронизмом из эпохи судов и тяжб по присутствиям Николая I. По этому поводу Флоровский замечает, что государству, так много сделавшему, чтобы придушить дух живого творчества и соборности в Церкви, следовало бы теперь поощрить его пробуждение. Всякое проявление соборности Церкви, во-первых, делало бы ее менее зависимой от правительственной бюрократии и надзора, во-вторых, увеличивало бы власть и активность епископата, т. е. монашества, которое обер-прокурор Дмитрий Толстой особенно не любил, т. к. „монашество символически напоминало о церковной независимости и не-от-мирности...” К этой эпохе всего ближе и относится резкое замечание Голубинского: „Порабощение членов Синода обер-прокурором есть господство барина над семинаристами: будь члены Синода из бар, имей связи в придворном обществе, и прокурор не господствовал бы над ними!”*

Больше всего в эпоху Александра II проявилось беспокойство духовенства о системе образования, о семинариях, реформы которых открыто обсуждаются — в том числе и в растущей в это время цер-

*Флоровский, цит. соч., сс. 342—344.

ковной периодике — уже с конца 50-х гг. Изучаются системы подготовки духовенства во Франции, Англии, на православном Востоке. Синодальная комиссия, созданная для рассмотрения школьной реформы, докладные записки с мест от архиереев, богословов, священников — говорят о необходимости как открытия доступа в семинарии людям из других сословий, так и права доступа детям духовенства в светские учебные заведения и поступления в светские вузы по окончании семинарий. Предлагается превратить семинарии в общеобразовательные гимназии духовного ведомства с передачей их Министерству просвещения — с тем только, чтобы педагоги в них поставлялись Церковью. Для подготовки пастырей предлагается создать собственно семинарии с чисто богословско-пастырскими предметами, с правом поступления туда лишь по окончании среднего учебного заведения. Эти высшие пастырские училища должны быть, по замыслу, строго молитвенно-аскетическими, предпочтительно в монастырях, чтобы изменить сам дух семинарий. Но этому решительно воспротивился обер-прокурор. В результате получилась скромная реформа 1867 года, которая лишь несколько „надстроила” существовавшие семинарии, расширив их курс на 12 лет: первые 8 — общеобразовательных, последние 4 — богословско-пастырско-педагогические.

Важным изменением к лучшему стала выборность ректоров и инспекторов семинарий. Но самое главное пожелание духовенства — отменить его сословность* — не было услышано. Именно правитель-

* По выражению митр. Филарета Московского (Дроздова), „невольник не богомольник. И к чему это порабощать свободных, когда и несвободным дают свободу?” — замечает он, имея в виду освобождение крестьян. Цит. по Ф л о р о в с к о м у, ук. соч., с. 356.

ственным постановлением 1879 г. семинаристам был закрыт доступ в университеты. Но, с другой стороны, устав 1867 г. разрешал лицам из других сословий (в том числе и пожилым, желающим принять сан) поступать в богословские классы семинарий по окончании светской средней школы. Это вскоре начинает давать некоторые число духовенства и богословов из дворян и светской интеллигенции; некоторые из последних, как, например, Владимир Соловьев, даже поступают в духовные академии по окончании светского высшего образования. Эти маленькие струйки начинают постепенно размывать стены сословного гетто духовенства к самому концу века, когда контакты между обществом и Церковью стали значительно расширяться и углубляться, чему содействовало разочарование части интеллигенции (ее самых блестящих представителей) в позитивизме, материализме, марксизме. Возвращение в Церковь этой части интеллигенции, в свою очередь, содействовало появлению так называемого русского религиозно-философского ренессанса. Но об этом несколько ниже.

Эпохе Александра II принадлежит первое полное, наконец, издание всей Библии, включая и апокрифы, в переводе на живой русский язык — событие исключительной важности для распространения сознательной и осознанной религиозности в гуще народа. К этой же эпохе относятся первые попытки воссоздания социального христианства и братств для этой работы. С гласностью связано появление таких религиозных периодических изданий для широкой общественности, как еженедельный „Церковно-общественный вестник“, „Дух христианина“ и пр.

Своим частичным раскрепощением в эпоху Александра II Церковь обязана не только самой эпохе

раскрепощения общества в целом, но и исследованию раскола и сектантства, которое впервые в истории России было систематически предпринято при Николае I. В итоге этого обследования, оконченного в 1852 г., цифра одних только староверов всех мастей выросла с 830 тыс., по официальным сведениям 1850 г., до 10 млн., а может быть, и больше: статистический учет проводился не по всей империи, а лишь в нескольких показательных губерниях, на основании чего затем были сделаны экстраполяции. В некоторых местах цифры были просто катастрофические. Так, в Ярославской губернии православных оказалось всего от 1/4 до 1/3 населения. Были города в Ярославской, Смоленской и др. губерниях, в которых действовало по несколько староверческих церквей и молелен, но ни одного православно-синодального храма, т. к. не было для него прихожан*. Государство забеспокоилось, забеспокоилась и иерархия синодальной Церкви. Стало ясно, что Церковь, беспрекословно находящаяся в услужении у государства и скованная им по рукам и ногам, не может конкурировать со старообрядцами и сектантами, живущими только силой веры, преданностью и энтузиазмом верующих. Попытка Николая I уничтожить староверчество арестом нескольких десятков тысяч его деятелей только увеличила популярность этих течений и, по мнению историка Корнилова, еще больше расширила про-

* См., напр.: И. Ю з о в (И. И. Каблиц). Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. С.-Петербург, тип. Котомина, 1881, сс. 36—46. По его подсчетам, в 1865 г. в империи было 3 млн. поповцев, 8 млн. беспоповцев, 1 млн. духовборцев и молокан и 65 тыс. хлыстов и скопцов. Западные секты — евангелисты, баптисты — начинают распространяться в народе в массовом масштабе лишь к концу века, и к ним переходят многие беспоповцы и молокане.

пасть между самодержавием и народной идеологией.

Но вскоре оказалось, что Церкви не подняться, пока она находится в тисках синодальной системы. Даже такие робкие сдвиги, как разрешение в 1867 г. епархиальных съездов, более либеральные семинарский и академический уставы 1867 и 1869 гг. и более-менее открытое обсуждение церковных проблем на страницах церковной периодики, были вскоре задушены новым обер-прокурором, К. Победоносцевым (семинарско-академические уставы были вскоре, в 1884 г., заменены более реакционными). Если граф Д. Толстой был одержим зудом церковных нововведений — правда, направленных на еще большее ослабление власти архиерея и усиление монополии обер-прокурора и его чиновников, — то Победоносцев (по-своему, искренне верующий человек) хотел все заморозить и действительно, будучи ближайшим советником Александра III и воспитателем Николая II, на целые 25 лет (со вступления своего на пост обер-прокурора в 1880 г. до отставки в 1905-м) почти парализовал всякое движение в обществе, власти и, больше всего, в Церкви.

ПРЕДДУМСКОЕ БРОЖЕНИЕ И ЦЕРКОВЬ В ДУМСКИЙ ПЕРИОД

Победоносцев жил пессимистическим и мистическим предчувствием обвала, катастрофы, революции в России. Но, будучи мизантропом, он видел спасение не в просвещении и свободе, а в охранительности, сохранении любой ценой неподвижности традиционных начал и структур. Он понимал, что эта традиционная структура, ценности и понятия народа цементируются Церковью, бытовой религиозностью

и неким инстинктивным христианством. Для укрепления Церкви и религиозного чувства именно и исключительно на этом уровне Победоносцев признавал необходимость даже некоторых мероприятий, и их он проводил, а именно:

— Колоссальный рост церковно-приходских начальных школ. К 1899 г. их было около 40 тыс. почти с 1,5 млн. учеников, против 30 тыс. земских школ с более чем 2 млн. учеников*. Правда, хотя Победоносцев добился значительного увеличения государственных дотаций для Церкви, денег для финансирования этих школ у Церкви было гораздо меньше, чем у земств. Поэтому уровень их был значительно ниже: оплата труда учителей церковно-приходских школ была мизерной, а потому и преподавали в этих школах люди недостаточно квалифицированные. Но Победоносцев и не хотел их высокой квалификации. Его цель была дать крестьянским детям элементарные представления о Церкви и элементарную грамотность для чтения назидательной литературы и для бытовых нужд, но не превращать сельскую школу в первую ступень для дальнейшего образования, которое он считал вредным, ибо оно начнет колебать традиционную структуру и представления сельского общества.

— Строительство красивых храмов в селах и улучшение церковного пения, красоты службы в них. Это должно было укрепить традиционно-эстетическую религиозность.

— Издание в огромном количестве благочестиво-назидательной религиозной литературы, главным образом для простого народа, в том числе и религиозной периодики такого характера, взамен „проблемно-дискуссионных” общественно-богословских

*Речь идет только о сельских школах.

журналов (популярного и чисто научного профиля), которые появились в эпоху Александра II и которые Победоносцев поспешно закрывал один за другим.

— Материальная помощь духовенству, выразившаяся в значительном увеличении субсидии для Церкви из государственного бюджета и в введении небольших ежемесячных доплат священникам особенно бедных приходов. К 1914 г. общая ежегодная государственная дотация православной Церкви несколько превышала 18 млн. руб., но для выплаты минимального жалования священникам, диаконам и псаломщикам — чтобы освободить их от унижительной зависимости от получения мзды за исполнение треб — нужна была дотация в 50 с лишним миллионов.

Новые уставы духовных семинарий и академий, введенные Победоносцевым, отменили гласность диссертационных диспутов с правом присутствия посторонней публики, запрещали темы анализа сект и ересей в диссертациях. Недоволен был Победоносцев и тем, что в результате закрытия доступа семинаристам в университеты в 1879 г. сильно возрос приток семинаристов в академии. Победоносцеву нужен был традиционный священник-требоисполнитель, а не просвещенный пастырь, „чрезмерно” рассуждающий о вере. Поэтому он ограничивает число стипендий в академиях, вводит конкурсные экзамены для семинаристов, запрещает своекоштным семинаристам жить на частных квартирах, будучи в академиях. Все это приводит к началу нашего века к резкому сокращению числа студентов в духовных академиях, именно в то время, когда бурно начинает расти спрос на культурных, высокообразованных, убежденных в вере и знающих богословие пастырей — поскольку это было время большого ду-

ховного пробуждения, тяги к вере и к Церкви в среде русской интеллигенции*.

К концу прошлого века русская интеллигенция, вернее, наиболее выдающиеся ее представители, наиболее умственно-пытливые и стремящиеся дойти до истины (а не компиляторы чужих идей), как бы прошли все круги обезбоженного позитивистского ада. Вершиной его был марксизм, в который русская интеллигенция окунулась в 80-х годах прошлого столетия, после неудачи народнического максимализма. Но дело не в методах практической работы: народнический социализм был скорее конгломератом сентиментов и эмоций, а не интеллектуально продуманной социально-философской системой, которой для русской интеллигенции впервые стал именно марксизм. По словам Н. А. Бердяева, марксизм требовал непривычной для русской интеллигенции интеллектуальной дисциплины, последовательности, системности и методов логического мышления**. Флоровский говорит: „Марксизм в 90-е годы был пережит у нас как мировоззрение, как философская система... Это было восстание новой метафизики против засилия морализма. Метафизика марксизма была дурной и догматической... Но важна не догма марксизма, а его проблематика...”*** Эта проблематика ставила основные вопросы бытия, вопросы свободы и необходимости. И

* Интересно, что свои меры по сокращению студентов в академиях Победоносцев (вернее, ему подчиненный Синод) мотивирует переизбытком духовно-педагогических кадров, ни словом не упоминая задачи академий по созданию просвещенных пастырей. Пастырь не должен быть просвещенным, считает Победоносцев.

** „Вехи”. Москва, 1909 — Франкфурт: „Посев”, 1967, сс. 5—6 и пр.

*** Цит. соч., сс. 454.

именно примитивность и логическая несостоятельность разрешения этих экзистенциальных вопросов в рамках материализма заставляла наших *мыслящих философски* марксистов обращаться за ответами прежде всего к Гегелю, из которого марксизм вышел. От нравственного релятивизма (диалектический метод, который фактически отрицает существование абсолютов) гегельянства пытливым умом обращался к Канту с его нравственными императивами, к его утверждению божественного начала через рациональную логику. Но в марксизме, как говорит Флоровский, были и „крипторелигиозные мотивы... И можно сказать, что именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону православия. Из марксизма вышли Булгаков, Бердяев, Франк, Струве... Все это были симптомы какого-то сдвига в глубинах”*

Интеллигенция эта начинает искать встреч с Церковью, диалога с ней, но наталкивается на аппарат Победоносцева, опека которого, по словам Владимира Соловьева, избавляет нас от „настоящей серьезной борьбы за Православие”... Закрыты были воз-

*Флоровский перечисляет в качестве крипто-религиозных черт марксизма утопическое мессианство и чувство общественной солидарности. Соловьев указывал на понятия отчужденности личности и эксплуатации человека человеком как на понятия, взятые Марксом из христианства и ни в какие ворота не лезущие в материалистическую и классовую теорию марксизма (если нравственно все, что отвечает интересам класса, то, с точки зрения правящего класса, нравственно любая эксплуатация и нет возможности доказать, что интересы „капиталистов” менее нравственны, чем пролетариата). К этому следует добавить требование марксизма принимать его на веру как единственно возможную и окончательную истину и его эсхатологичность, т. е. обещание построить рай на земле, с которым прекращается фактически история, весь ее диалектический процесс.

ники в 60—70-х гг. „Общества любителей духовного просвещения” (в Москве и Петербурге), в которых встречались верующие представители высшего общества, часть профессуры (в основном, духовных академий) и просвещенное духовенство. Их свободные рассуждения издавались, и теперь эти общества могли бы стать платформой для вовлечения неофитов и ищущих из среды радикальной и либеральной интеллигенции. Но самих обществ давно уже не было, ибо Победоносцев „был враг личного творчества... его беспокоило пробуждение религиозных интересов в русском обществе”*, ибо он признавал только инстинктивную религиозность и веру как систему быта, а не как осознанный поиск.

Но не ответить на обращения интеллигенции к Синоду, с тем, чтобы были допущены религиозно-философские собрания с участием представителей духовенства, было уже невозможно. И вот эти собрания открываются в Петербурге в 1901 г. С церковной стороны председательствует на них молодой, блестящий, либеральный и очень популярный ректор Петербургской Духовной академии епископ Сергей (Страгородский), будущий патриарх. Протоколы (все доклады и прения) собраний печатались в журнале „Новый путь”, а затем вышли отдельной книгой в 1906 г., но сами собрания были закрыты повелением победоносцевского Синода в 1903 г., — не по воле участвовавшего в них духовенства, о котором один из ведущих участников собраний, Дм. Мережковский, писал: „Они шли навстречу миру с открытым сердцем, с глубокой простотой и смирением, со святым желанием понять и помочь, взыскать погибшее. Они сделали все, что могли”** ...

* Ф л о р о в с к и й, указ. соч., сс. 410—418.

** Цит. по: Ф л о р о в с к и й, с. 470.

Быть может, именно на этих собраниях светское общество — вернее, лучшие его представители — наконец начало принимать разницу между Церковью и ее пастырями, с одной стороны, и государственным аппаратом, ее пленившим, с другой. Уже понимание этой одной проблемы перекинуло мост через пропасть, разделяющую светское общество и Церковь. Кроме того, опыт мирного диалога между светской интеллигенцией и Церковью, приведшего к более сочувственному восприятию Церкви этой интеллигенцией и сопровождавшегося обращением ряда ее представителей, должны были убедить и какую-то часть правительственного „эстаблишмента” в необходимости позволить Церкви иметь какое-то право голоса в море общественного брожения, чреватого революцией. Несомненно, правительство, и прежде всего сам Победоносцев, ожидали от Церкви голоса консервативного, поддерживающего правительство, успокаивающего нарастающую бурю. Но этого не произошло.

Под давлением нарастающего оппозиционного общественного мнения и требований свобод, 12 декабря 1904 г. правительство пообещало в ближайшем будущем ввести веротерпимость*. В ответ на это митрополит Петербургский Антоний (Вадковский) подал государю записку, в которой совершенно резонно утверждал, что с предоставлением конфессиональной свободы все религиозные объединения империи будут в более выгодном положении, чем Церковь православная. Эти, отныне свободные, религии смогут организовывать свою жизнь по собственному усмотрению, устраивать съезды, союзы, органи-

* За этим последовало временное постановление от 30.IV. 1905 г. и окончательный Указ о веротерпимости от 30.X. 1906 г.

зации, в то время как православная Церковь, пребывая и далее под мелочным контролем государства, будет лишена всех этих возможностей. Поэтому он просил, как минимум, созыва совещания всех архиереев православной Церкви с участием компетентных представителей приходского духовенства и мирян, *но без участия каких-либо представителей правительства*. В результате этого совещания Церковь должна обрести некоторую автономию и быть освобождена от несения „прямой государственной или политической миссии“. Далее он настаивал на воссоздании самоуправляющегося прихода, признания его в качестве юридического лица, обладающего правом собственности. Приходские священники должны получить право участвовать в работе земств, а в Государственном Совете должны быть выделены одно или несколько мест для епископата, чтобы у него был прямой доступ к Комитету министров. Иными словами, митр. Антоний хотел по меньшей мере освободить Церковь от опеки и власти обер-прокурора и установить между Церковью и правительством каналы прямой связи — как между двумя договаривающимися и сотрудничающими юридическими лицами.

Фактом принятия этой записки государем воспользовался председатель Комитета министров С. Ю. Витте, создав при Комитете особое совещание по церковным вопросам, пригласив туда ряд либеральных профессоров из духовных академий. Их записка, ставшая известной как 1-я записка Витте, была гораздо радикальнее антониевской. Она без обиняков называла всю послепетровскую систему управления Церковью незаконной, держащей Церковь в состоянии паралича; требовала немедленно созыва не просто совещания, а поместного собора с участием рядового духовенства и мирян. Витте

ссылался больше всего на участвовавшего в этом совещании еп. Сергия (Страгородского), требуя восстановления независимости и соборности Церкви в государстве, где „мертвящее веяние сухого бюрократизма” будет ослаблено пробуждением общественной самостоятельности. Предварительная программа преобразований, намечавшаяся в записке, должна была начаться с обновления прихода, обеспечения духовенства, децентрализации управления, преобразования духовных школ.

Но тут встрепенулся дряхлеющий Победоносцев, запротестовал против предложений и Антония и Витте и добился перевода обсуждения церковных преобразований из Комитета министров в Синод, где он все еще был обер-прокурором. Однако, пока Победоносцев полемизировал с Витте и доказывал государю идеальность синодальной системы, Синод „взбунтовался”: срочно принял постановление о необходимости немедленного созыва Собора. В своей записке государю Синод указывал, что по четвертому и пятому канонам Никейского собора поместные соборы должны созываться каждые полгода, а у нас не было Собора уже более 200 лет. Доклад, представленный государю, говорил о созыве Собора в ближайшие месяцы в Москве, выборе патриарха и изменении самого состава Синода, как органа при патриархе (и под руководством его, а не обер-прокурора). Но последним актом уходящего на покой Победоносцева был его совет государю не допускать созыва Собора. Ответ государя был характерно половинчатым: он в принципе признавал желательность Собора и изменения структуры Церкви, но считал, что это надо отложить до более спокойного времени.

Между тем, Победоносцев надеялся спасти синодальную систему при помощи епископата: летом

1905 г. всем архиереям Русской Православной Церкви было предложено прислать свои записки в Синод о положении Церкви и необходимых, по их мнению, преобразованиях. И вот тут-то русский епископат подвел старого реакционера. Очень рекомендуется всем тем, кто, с легкой руки наших либералов и марксистов, походя зачисляет историческую русскую Церковь и ее епископат в реакционеры, прочитать эти три огромные фолианта „Отзывов епархиальных архиереев” и 4-й том „Прибавлений” к ним, состоящий из дополнительных записок некоторых архиереев. С точки зрения Победоносцева, это был бунт, революция. С точки зрения Церкви, эти записки, за редкими исключениями, показали, что дух православия и православно-церковного мышления никогда не угасал в Церкви, несмотря на все искажения, насаждавшиеся сверху, и внешнюю подчиненность епископата этой системе. Записки эти были полным поражением Победоносцева и всей его „идеологии”, и осенью 1905 г., после Манифеста 17 октября, он вышел в отставку.

Главные рекомендации епископов заключались в следующем:

1. Почти все архиереи требовали реформ, направленных на освобождение Церкви от государственной зависимости. Большинство предлагало восстановление патриаршества. Почти все требовали для этого, как и для прочих реформ, созыва Собора и затем установления периодичности соборов. Тут мнения разделялись по таким вопросам, как: будет ли патриарх церковным монархом или первым среди равных, будет ли Синод или совет при нем совещательным или законодательным органом, на котором патриарх — всего лишь председатель.

2. По вопросу о составе соборов мнения разделялись: одни (меньшинство, во главе с архиеписко-

пом Волынским, Антонием Храповицким) хотели их видеть только соборами епископов, другие — соборами епископата, рядового духовенства и мирян. Большинство склонялось к какому-то участию в соборах рядового духовенства и мирян, — но то ли в качестве экспертов по тем или иным вопросам, то ли в качестве наблюдателей и участников дискуссий с правом предложения своих мнений, но без права голоса. Было меньшинство, среди которого выделялись прежде всего либеральный петербургский митрополит Антоний (Вадковский) и новоназначенный епископ Финляндский Сергей (Страгородский), желавшее предоставить выборным от приходского духовенства и мирян равное право решающего голоса. Антоний это ничем не оговаривал. Сергей же писал, что нормально на соборах только епископат должен был бы обладать решающим голосом, но чтобы его решения были приняты Церковью в целом, должны быть любовь и полное доверие всей Церкви (мирян и рядового духовенства) к своему епископату. Ныне же авторитет русских архиереев стоит так низко из-за их более 200 лет продолжающегося подобию страстия по отношению к властям, что никакого доверия у церковного народа к ним нет, и решения, принятые ими самостоятельно, без соучастия и принятия их делегатами от церковного народа, не будут иметь моральной силы и не укрепят Церкви. Поэтому он присоединялся к мнению о необходимости дать право решающего голоса и мирянам, и приходскому священству на Поместном соборе.

3. Авторы большинства записок склонялись к разделению Церкви на самоуправляющиеся митрополии ввиду колоссальных размеров российской территории (экзарх Грузии предлагал даже восстановление автокефалии Грузинской Церкви). Именно в митрополиях предполагалось соблюдать кано-

нические правила о ежегодных и чаще созываемых соборах. Большинство предлагало восстановить самостоятельность местного епископа и пожизненность его назначения (в синодальной системе средняя частота сменяемости архиереев была около четырех лет), а также увеличение числа архиереев. Утверждалось, что каноны не знают vikарных епископов, а следовательно — надо создать епархии не только в объеме губерний, но и уездов.

4. Предлагалось восстановить автономию и широкое самоуправление прихода — как основной ячейки соборности Церкви.

5. Предлагалось расширить участие Церкви в общественной жизни страны.

6. Предлагались реформы в областях церковного суда, школьного дела -- как общеобразовательных школ, находившихся в ведении Церкви, так и богословского образования.

7. Почти все архиереи выказали свою обеспокоенность тем, что миряне, в основном, не понимают богослужения. Предлагались литургические реформы, как и меры по просвещению мирян в этой области. Меньшинство склонялось к переводу богослужения на живой русский язык.

Наше обсуждение церковных событий 1905 г. было бы неполным, если бы мы оставили без внимания записку 32-х петербургских священников, которые вскоре начинают называть свое движение „Союзом Церковного Обновления”. Собственно, записок этой группы, подававшихся митр. Антонию Петербургскому, было несколько. Все они были затем изданы в сборнике под названием „К церковному собору”. Записки эти мало чем, кроме своего резкого и категорического тона, отличаются от наиболее прогрессивных рекомендаций епископата, за исключением отрицания монашеского епископата, о

чем мы уже говорили. В основном, эти записки опираются строго на каноны ранних соборов. Они решительно отвергают перемещаемость епископов из епархии в епархию, настаивая на равности епархий и абсурдности системы возвышения архиереев по службе с переводом из меньших в большие и более центральные епархии. Требуют „обновленцы” и отмены всех наград и орденов для духовенства, освобождения православной Церкви от католического клерикализма путем введения соборности церковного делания и управления на всех ступенях с участием мирян, выборности духовенства (и священников, и епископов). Миряне должны участвовать и в соборах поместных, как это было в древности. Церковь не должна связываться ни с какой формой государства, утверждает одна из последующих журнальных статей этой группы. Эта связь кощунственна для Церкви и нередко ведет „даже к связи с полицейским участком”. Иными словами, „обновленцы” уже на этом раннем этапе отрицали богопомазанность монархии, стоя на точке зрения разделенности сфер власти, „кесарева кесареви”, но не больше. Что касается общественной жизни в стране, то „обновленцы” были сторонниками максимального в ней участия Церкви, духовенства и мирян. „Идти в гущу жизни” — позиция многих церковных деятелей того времени. Профессор Киевской духовной академии Экземплярский приветствовал социал-демократов за стремление к социальной справедливости. Носились с христианским социализмом Сергей Булгаков (будущий священник и декан Парижской Свято-Сергиевской духовной академии — уже в эмиграции), Н. Бердяев и др.; а архимандрит Михаил Семенов, профессор Петербургской академии и участник „Союза Церковного Обновления”, даже опубликовал Программу

русских христиан-социалистов, в которой отвергал частную собственность, но в отличие от марксистов, был против классовой борьбы и насилий.

О раскачке стихий и нестройности церковного корабля, его внутреннем моральном ослаблении за те 200 с лишним лет, во время которых он был лишен нравственного руководства и ответственности, свидетельствует странный случай своеобразного церковного „Нечаева” в лице архимандрита Серапиона Машкина, старца Оптиной пустыни. Бывший морской офицер, рано уйдя в отставку, он сначала поступил в Московский университет. Затем отправился на четыре года на Афон, а вернувшись, поступил в Московскую духовную академию. В своем социалистическом радикализме он критиковал Маркса за чрезмерную пассивность (! — sic) его исторического метода, приветствовал методы эсеров, хотя предпочитал социальную программу социал-демократов. Считал, что в борьбе с монархией и капитализмом все средства оправданны, в том числе: шпионаж, доносительство и даже тайные убийства. В личной же жизни он был безупречен: роздал все свое наследство в размере 200.000 руб. бедным. Бедным паломникам отдавал все из своей кельи, часто оставаясь без еды и в одном нижнем белье. Так что, по сравнению с этим радикализмом, поддержка и благословение гапоновских союзов еп. Сергием (Страгородским) и проповедь еп. Антонина Грановского в одной из петербургских церквей в 1907 г., в которой он назвал царское самодержавие — *сатанизмом* (за что на несколько лет был сослан по приказу царя в монастырь), — звучат весьма невинно.

Обновленческий союз, в отличие от того, что под этим именем появится после революции 1917 г., в своих требованиях тоже не уходил слишком дале-

ко, — вернее, он старался восстановить букву все-ленских канонов. Так, он выступал против восстановления патриаршества, как некоего суррогата папства, предлагая взамен широкую децентрализацию Церкви с периодическими совещаниями епископов и какой-то постоянной соборной единицей, как постоянный орган центрального координирования и направления церковного корабля.

Церковь проснулась, бурлила, полная надежд и свежих жизненных соков, соков, в основном свежих и здоровых. Христианские социал-демократы и революционеры были лишь небольшими крайними течениями, но они могли развиваться во что-то большее, перекинуться в революционные секты, как это уже бывало в истории христианства. Эти мятущиеся души могли оторваться от Церкви и по харизматичности своей натуры увлечь за собой малых сих. Единственным реальным и ответственным отзывом царя на эти голоса должно было быть разрешение немедленного созыва Собора и предоставление Церкви свободы.

Казалось, все к этому идет. По просьбе Синода, царь разрешил созвать в марте 1906 г. „Предсоборное присутствие” с участием приглашенных епископов, духовных лиц, ученых и общественных деятелей, под председательством Петербургского митрополита, без участия обер-прокурора. Присутствие заседало до декабря 1906 г., его протоколы, изданные затем отдельно, и сводный доклад, рекомендовавший немедленный созыв Собора, были представлены государю. Была проделана колоссальная и конструктивная работа, подготовлены темы для разработки будущим Собором, включавшие в себя полное переустройство Церкви и перевод ее на самостоятельные ноги соборного устройства. Предлагалось в корне перестроить богословское образо-

вание, сделать его всесловным и сосредоточить на подготовке будущих пастырей, отделив от учительских семинарий и пр. ...Но на все это последовала холодная и обезнадеживающая резолюция царя от 25 апреля 1907 г.: Собор пока не созывать.

Была слабая надежда, однако, что царь разрешит Собор в юбилейном 1913-м году, но миновал и 1913 год. Последним напоминанием царю о непримиренности Церкви с ее неканоническим состоянием было прошение всего думского духовенства в составе 46 депутатов, поданное царю в 1916 г. В прошении этом говорилось о необходимости немедленно восстановить соборность управления Церковью с тем, чтобы государство отказалось от своего взгляда на православное духовенство как на инструмент внутренней политики правительства.

Царь оставался глух к голосу Церкви.

Итак, реформы 1905—1906 гг., таким коренным образом преобразовавшие все мирские сферы русской жизни, как будто обошли Церковь. Формально — действительно после 1906 г. Церковь оставалась в ведении того же обер-прокурора и той же синодальной бюрократии. По-прежнему она оставалась формально несвободной. Но все же весь новый дух времени, ощущение, что положение Церкви вскоре изменится, что синодальная система — теперь уже только временное явление, да и в конце концов Дума и участие в ней духовенства и верующего народа — не могли не повлиять на дух и быт в Церкви Думского периода. Коснемся кратко этого вопроса.

Во-первых, снова появились во все растущем количестве разнообразные популярно-дискуссионные журналы и сборники на религиозные, религиозно-общественные и религиозно-философские темы. Некоторые из них издавались Церковью, в частности —

много брошюр очень популярного священника Григория Петрова на нравственно-религиозные и социально-религиозные темы, призывающие христиан к широкой общественной деятельности. Начали появляться братства при приходах, особенно в рабочих и портовых районах больших городов, занимающиеся благотворительностью, нравственно-религиозным просвещением и т. д.; религиозно-философские кружки и общества. Началось возрождение церковного проповедничества, которое продолжалось и после революции и замолчано было только террором 30-х гг.* Начавшееся религиозное возрождение среди некоторой части интеллигенции приводит многих из них в конце концов к рукоположению, в частности, ведущего журналиста Свенцицкого, бывшего экономиста и марксиста С. Булгакова, князя Ухтомского. Этот процесс рукоположений представителей светской интеллигенции и дворянства все нарастает примерно в последнее пятилетие царской и в первое десятилетие послереволюционной эпохи. Наиболее нашумевшей проблемной публикацией православных неофитов из интеллигенции дореволюционного десятилетия, конечно, были „Вехи”, с их решительным осуждением внеисторичности и беспочвенности интеллигентского нигилизма и атеизма, с их пророчеством кровавой развязки на том пути, на который эта интеллигенция толкает русский народ.

Короче, в последнее предреволюционное двадцатилетие, вопреки совместным стараниям правительства, русских царей, синодальной бюрократии и ате-

* См. об этом у А. Левитина (Краснова) и В. Шаврова, „Очерки по истории русской церковной смуты” (Küsnacht, Schweiz, 1978) и А. Краснов-Левитин, „Лихие годы”. Мемуары, т. 1 (Париж: ИМКА-Пресс, 1977).

истической интеллигенции, Церковь, наконец, прорвалась за пределы своего гетто. А приток в нее интеллигенции с ее связями в либеральной печати сделал невозможным дальнейшее затыкание рта Церкви правительством. Но это все, так сказать, „атмосферные“ перемены, не институционные. В этом последнем плане Церковь осталась в том же положении, что и до 1906 г.*

Для гласности, для выхода из гетто имел значение и сам факт выбора духовенства в Думу. И тут правительство и обычные общественные иллюзии о реакционности духовенства потерпели конфуз. В Первую Думу было выбрано шесть священников и два епископа. Епископы (Евлогий и Платон, будущий Американский) примкнули к правым, священники — к трудовикам и кадетам. Во Второй Думе из 11 священников оказалось три кадет и четыре социалиста-революционера. Остальные четыре священника и оба епископа распределялись в диапазоне между октябристами и крайне правыми.

Ко времени Третьей Думы священники-депутаты Думы делились следующим образом: четыре прогрессиста, девять октябристов, умеренно правых — один епископ (Евлогий) и 13 священников, националистов — два священника, правых — 15 священников и один епископ (Платон).

* Перемена в этом плане была лишь в том, что новые и дополнительные ассигнования, сверх тех, что Церковь получала до 1906 г., теперь шли через Думу, что заставляло Церковь вовлекаться в думские финансовые дебаты и обосновывать свои ходатайства раскрытием Думе, а через нее и массовой печати, своих нужд и подлинного своего финансового положения. Это не могло не подействовать на какие-то широкие круги общественности в плане лучшего понимания ими подлинного положения Церкви и ее проблем.

В Четвертой Думе священники казались уже совсем правыми: из 46 духовных лиц в Думе только по два принадлежало к прогрессистам, октябристам и центру, умеренно правых было 19 и правых — 19 плюс оба епископа. Правительство стремилось с самого начала к тому, чтобы в Думе было больше духовных лиц, веря, что они будут опорой правым и, во всяком случае, правительству. Свободные выборы в первые две Думы показали, что это далеко не так, что если это и верно в отношении более законопослушного епископата, то священники, в основном, разделяли радикализм, царивший в то время в народе, а может, были и радикальнее его, о чем свидетельствуют и воспоминания митр. Евлогия, как о семинаристах, так и о некоторых революционных речах священников с трибуны первых двух Дум. Конечно, внешне обстановка переменилась после „Столыпинского переворота” 1907 г., когда были изменены критерии и удельный вес различных цензов для избрания в Думу и когда священникам было категорически запрещено присоединяться к крайне левым партиям. Но и „правость” священников даже в последней Думе, оказалась весьма условной: в годы войны подавляющее большинство их присоединяется к Прогрессивному блоку в Думе, т. е. к тому оппозиционному блоку, из среды которого рождается в конце концов Временный комитет и идея добиться отречения государя. Мы не рассматриваем здесь вопрос правильности или неправильности этой идеи, а только приводим этот факт как доказательство того, что духовенство (даже его отбор для Думы, о чем ниже) было далеко не простым и рабски послушным орудием „царизма”.

Кстати, в числе обоих епископов в Четвертой Думе Евлогия, архиепископа Холмского, а впослед-

ствии митрополита Западноевропейского, не было. И вот почему: в 1912 г., накануне выборов в Четвертую Думу, к Евлогию лично явился с визитом Саблер, тогдашний обер-прокурор Синода, и пытался уговорить Евлогия организовать духовенство в особый политический блок или фракцию для выставления своих кандидатов в Думу. „У вас будет 50—60 голосов. Это сила!” Конечно, речь шла о правительственной силе. Но Евлогий решительно отказался, сказав Саблеру, что это было бы страшным вредом для Церкви: „Россия не знает клерикализма... наше смиренное сельское духовенство находится в тесной органической связи с народом... изолируя духовенство от народа (выделяя его в отдельную партию), мы сделаем его одиозным... Духовенство во всех партиях должно работать по совести...” Так рассуждал *правый* епископ-монархист, но не так действовал Синод, по-прежнему поработенный обер-прокурором: „Вскоре я получил конфиденциальное письмо... Синод обсуждал мою кандидатуру в Четвертую Думу и решил мне предложить... кандидатуры моей на новых выборах не выставять”^{*}.

И тем не менее, несмотря на все эти фильтры и давление, как мы уже говорили, думское духовенство *единогласно* вручило государю еще раз категорическое прошение о немедленном допущении созыва Поместного собора...

Но государь остался глух и к этому воплю Церкви, последнего, 12-го часа! И вот в крововорот революционного хаоса Церковь вошла безглавою

^{*} Цит. соч., сс. 231—232, а также сс. 171—216. Остальные данные о думской работе духовенства из: Доналд Тредголд, „Russian Orthodoxy and Society” и Марк Шефтель „Church and State in Imperial Russia” — оба материала в „Russian Orthodoxy under the Old Regime”, соотв. сс. 36—37 и 133—137.

(ибо, повторим, земным ее возглавителем со времени Петра I был царь); без собственной системы власти и управления (ибо основная критика Синода была не та, что это плохая система правления, а что это отсутствие всякого правления — есть только приказы); без инфраструктуры; без спаянных приходов с чувством ответственности и обязательствами прихожан по отношению к приходам и своему духовенству и т. д. Более того, Церковь, так тесно привязанную к павшему режиму и его главе, теперь можно было подвергнуть гонениям под предлогом не борьбы против религии вообще, а под предлогом борьбы с остатками „царизма”, — что большевики и делали и благодаря чему им удалось в ходе этого разделить церковные ряды на лояльных обновленцев и „реакционных” тихоновцев, а заодно и пользоваться если не поддержкой, то по крайней мере благосклонным нейтралитетом других религий и сект страны, пока они уничтожали главную национальную Церковь. Только к 1929 г., обескровив православие, большевики берутся и за остальных.

Можно с уверенностью сказать, что, войди Церковь в революцию самостоятельной единицей, с большим нравственным авторитетом и опытом независимого существования, духовно и административно спаянной, роль ее была бы вполне сравнимой с ролью нынешней Польской католической Церкви.

Но все же остается вопрос: если в Церкви было такое единогласное недовольство синодальной системой, почему в бурные 1905—1906-й годы, когда мирское общество добилось стольких свобод, единственно Церкви не удалось для себя отвоевать почти ничего? Ответ на этот вопрос лежит в нескольких плоскостях.

Во-первых, мирское общество в целом оставалось далеким от Церкви и ее интересов. Борясь за

гражданские права и свободы, оно в них Церковь (за редкими исключениями воцерковлявшегося меньшинства интеллигенции) не включало, привыкнув смотреть на нее, как на какой-то отросток государственности, ее „православное ведомство”. Более того, будучи в массе атеистической или, во всяком случае, агностической, толкая народ к революции, интеллигенция не хотела видеть Церковь сильной, независимой и духовно-авторитетной в глазах народа, ибо она тогда стала бы серьезным нравственным барьером на пути революции, разгрома и террора. Так что, как это ни парадоксально, синодально-бюрократическая система устраивала больше всего и правительство, и радикальную и левую интеллигенцию.

Во-вторых, Церкви, возвращенной на традиции симфонии между Церковью и христианским государством, недоступны были те методы борьбы, к которым прибегало мирское общество: резкие атаки и пропаганда против правительства в печати и на собраниях, ультиматумы, угрозы, забастовки и бойкоты, не говоря уж о вообще неприемлемых для христианина методах шантажа и террора.

В-третьих, „богобоязненные” и „благочестивые” государи привыкли смотреть на Церковь как на „свое хозяйство”, и они знали, что к вышеупомянутым методам борьбы Церковь в целом не прибегнет. Значит и опасаться ее нечего. Церковные реформы можно отложить на самый конец — потерпит. Но „самый конец” подкатил неожиданно быстро..

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- А н т о н о в, Н. П. Русские светские богословы и их религиозно-общественное миросозерцание. С.-Петербург, тип. М. А. Александрова, 1912.
- „Вежи”. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд., Москва, 1909 — Франкфурт: „Посев”, 1967.
- Вопрос о приходской реформе в царствование имп. Александра II. Петроград, Синодальная тип., 1917.
- Группа петербургских священников. К церковному собору. Сборник. С.-Пбг., тип. Меркушева, 1906.
- Е в л о г и й, Митрополит. Путь моей жизни. Париж, „ИМКА-Пресс”, 1947.
- „Журнал Московской Патриархии” за 1944 и др. годы.
- И о а н н, Архиепископ (Шаховской). К истории русской интеллигенции (Революция Толстого). Нью-Йорк, IXOYCS, 1975/76.
- К л ю ч е в с к и й, В. О. Курс русской истории. 8 тт., 5 книг. М., Изд. социально-экономической литературы, 1956—58.
- К р а с н о в - Л е в и т и н, А. Э. Лихие годы, 1925—1941, воспоминания. „ИМКА-Пресс”, Париж, 1977.
- К р а с н о в - Л е в и т и н, А. Э. и Ш а в р о в, В. Очерки по истории русской церковной смуты. 3 тома в одной книге. Кюснахт: Институт „Glaube in der 2. Welt”, 1978.
- C u n n i n g h a m, J. W. A Vanquished Hope. The Movement for Church Renewal in Russia, 1905-06. Crestwood, N. Y.; St. Vladimir's Seminary Press, 1981.
- М а р ц и н к о в с к и й, В. Ф. Записки верующего. Прага, 1929 г.
- М и х а и л, Архимандрит (Семенов). Как я стал народным социалистом. Брошюра без даты и места издания (см.: Др. Лиеб Архив в Базельской университетской библиотеке). Свобода и христианст-

- во. С.-Пбг., 1907. Христос в век машин. С.-Пбг., 1907.
- Nichols, R. L. & Stavrou, Th. G. (ed.). Russian Orthodoxy under the Old Regime. Minneapolis, U. of Minnesota Press, 1978.
- Freeze, Gregory. The Russian Levites. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1977.
- Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. 3 тт. + 1 т. „Прибавлений”. С.-Пбг., Св. Синод, 1906 г.
- Патриарх Сергей и его духовное наследство. М., Патриархия, 1947.
- Поспеловский, Д. В. The Russian Church and the Soviet Regime, 1917—1982. Vol. 1. Crestwood, N. Y., St. Vladimir's Seminary Press, 1983 (предположительно).
- Пушкарев, С. Г. Россия в XIX веке. Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1956 г.; и ее английская версия: The Emergence of Modern Russia, 1801—1917. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1963.
- Пругавин, А. С. Раскол — сектантство. Материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа. М., 1887 г.
- Simon, G. Church, State and Opposition in the USSR. London, C. Hurst & Co., 1974.
- Смолич, Игорь. Geschichte der Russischen Kirche, 1700—1917. Leiden, E. J. Brill, 1964.
- Советская Историческая Энциклопедия, тт. 1—16. М., Изд. „Советская энциклопедия”, 1961—76.
- Флоровский, Г. Пути русского богословия. Париж, „ИМКА-Пресс”, 1981.
- Черепнин, Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. М., Изд. „Наука”, 1978 г.
- Юзов, И. (Каблиц, И. И.). Староверы и духовные христиане. С.-Пбг., тип. А. М. Котомина, 1881.

Учение Льва Толстого о государстве и противостоянии государственному злу в свете сегодняшнего опыта

I

Отношение Толстого к тому, что он называл „совокупностями” людей: к нациям, к государству, к Церкви — целиком вытекает из его представлений о Боге, о смысле человеческой жизни, об этических нормах христианства, в общем — из его религиозного учения. Социальные воззрения Толстого несут на себе отпечаток его религиозного сознания. Советские толстоведы упорно доказывают, что „...критика Толстого не вытекает органически из его философии, а скорее является результатом глубокого, объективного анализа общественной жизни”. При таком подходе критика Толстым политических отношений в России теряет свой оригинальный характер, становится частью любой оппозиционной критики. А это и нужно ученым-марксистам: они берут себе в союзники любого борца с несправедливостью, чтобы (пользуясь их манерой выражения) „нажить себе политический капитал”. В действительности же, критика Толстым общественной несправедливости опирается на совсем иные постулаты,

Эта статья является отрывком из монографии Германа Андреева „Религиозно-философское учение Льва Толстого”, которая еще ждет своего издателя. Другой отрывок из этой работы публиковался в 16-м номере журнала „Континент”. Имеющиеся в монографии сноски к цитатам мы опускаем, не желая перегружать ими статью.

чем критика революционная. Люди, не удовлетворенные жизнью потому, что в ней не так, как им хотелось бы, распределяются материальные блага, — не союзники, а противники, хотя, кажется, и те и другие „критикуют”. Толстой — не союзник революционерам, анархистам, нигилистам. Тех, кто его называл нигилистом или же анархистом, вводит в заблуждение его „критика”. Анархизм, например, — явление индивидуалистическое; анархическое учение, призывая к разрушению государства, освобождает человека от всякой ответственности. „Если Бога нет, то все позволено!” — таково положение анархизма. „Ничего не позволено делать такого, что запрещено Богом!” — таково положение толстовства. В статье „О значении русской революции” Толстой отмежевывается от анархистов: признавая их идеи, он отвергает метод, выразивший их атеизм. Философская мысль начала века еще не смогла увидеть неразделенность методов и целей. Современные философы (см. работы, например, Карякина о Достоевском) вообще не склонны отделять методы от целей: неверный метод входит составным элементом в ложную идею. Но так или иначе, Толстой не допускал смещения его учения с анархизмом, и был прав. Неверно представление, что Толстой вообще отрицал, например, государство. Несмотря на то, что он часто призывал к отказу от служения государству, в ряде писем и статей своих он указывал, что дело не в том, где и кому служит человек, а в том, какое место в его жизни занимает Бог. Ведь нельзя же упрекать Христа, что Он призывал не любить отца и мать, на том основании, что Он говорил: „Кто любит отца и мать более, нежели Меня, не достоин Меня” (Мф. 10, 37). Нелепо, основываясь на этих словах, называть Христа разрушителем семьи. У Него четко сказано: „Более,

нежели Меня". То же и с обвинениями Толстого в анархизме.

Толстой был анархистом не в том смысле, что он отрицал возможность служения государству, а в том, что он отрицал право государства на власть над человеческой душой, целиком отданной Богу. Анархизм Толстого, в отличие от революционного анархизма Бакунина или сегодняшних испанских и немецких анархистов, в том, что анархизм этот — религиозный. На это обратил внимание еще Бердяев: „Лев Толстой довел идею анархизма до религиозной глубины. Эта глубина есть в его учении о непротавлении злу насилием, которое плохо понимают". Религиозный анархизм Толстого требует ставить на первое место ответственность перед Богом, а не перед государством: „...жить по-Божьи, — писал Толстой, — значит бояться Бога больше, чем исправника, губернатора и т. д. Так что, когда исправник, губернатор и другие требуют чего-нибудь, а Бог запрещает, то слушаться надо не исправника, не губернатора, не кого-либо, а Бога". На Московском церковном процессе 1922 года патриарх Тихон на вопрос председателя суда: „Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет?" — ответил: „Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия". Ответ этот поразительно сходен с цитатой из Гаррисона, приведенной с огромным сочувствием Толстым в статье „Царство Божье внутри нас": „Мы подчиняемся всем узаконениям, всем правительствам, кроме тех, которые противны требованиям Евангелия".

Толстой не отрицал возможности и даже необходимости подчиняться государству, он лишь — как это сформулировал одновременно с ним Гаррисон, а после него патриарх Тихон — учил ставить требования религии выше государственных требований:

„Обязанности твои, вытекающие из твоей принадлежности государству, не могут не быть подчинены высшей вечной обязанности, вытекающей из твоей принадлежности к бесконечной жизни мира или к Богу, и не могут противоречить им”. Можно служить государству (точнее — подчиняться ему), семье, искусству, цивилизации и оставаться верным Богу. Конечно же, все это: и государство, и народ, и семья — страшные соблазны. Но надо принимать во внимание взгляды Толстого на аскетизм и подвижничество, чтобы понять его позицию в отношении служения государству. Ведь Толстой отрицал аскетизм, монашество, пустынночество, считая, что аскет, скопец, пустынный или столпник не выполняют волю Божию: Богу угодно, чтобы человек преодолевал искушения в борьбе с соблазнами и грехами. Тот, кто понимает учение Толстого как призыв к абсолютному отказу от служения всем человеческим общностям, — не вник в существо этого учения. Даже в наиболее резко антигосударственной статье „Рабство нашего времени” Толстой признает невозможность для современного человека полностью отказаться от всех видов деятельности, связывающих его с правительством.

Сложность изучения толстовских взглядов на государство связана не с тем, что Толстой излагал их как-то неясно, а в том, что он выражал подчас слишком категорично такие суждения, которые сам не считал безусловными. Он как бы забывал за тактикой стратегические цели своей проповеди. Ему нужно было показать, например, что государство — зло, а следовательно, злы и все его учреждения: суд, полицейские ограничения и т. д. И тогда получается, что Толстой просто анархист. Но чтобы понять учение Толстого, исследователь должен изучить если и не все его произведения (что вряд ли возможно),

то хотя бы большинство из них. И тогда он прочтет, например, в известной статье Толстого „Патриотизм и правительство” такие строки: „Уничтожение правительства никак не влечет за собой уничтожение того, что есть *разумного и хорошего*, а потому ненасильственного в законах, суде, собственности, полицейских ограждениях, финансовых устройствах, народном образовании. Напротив: отсутствие грубой власти правительства... будет содействовать более разумной и справедливой общественной организации, не нуждающейся в насилии”, — высказывание, кажущееся поразительным для Толстого: тут признаются и суд, и полиция, и собственность, которые, по-видимому, Толстой безоговорочно отрицал. Но ничего поразительного здесь нет, если обратить внимание на важнейшую оговорку Толстого: все это, и суд, и собственность, и полиция — допустимы *при отсутствии насилия*. Эту свою мысль Толстой нигде не развил. Неясным остается, как Толстой представлял себе полицию, избегающую насилия, или суд, следствием которого не будет принуждение. Но можно считать установленным, что Толстой был далек от анархического нигилизма и что для него безусловны были только два отрицания: *отрицание насилия и отрицание такой деятельности, которая отдает предпочтение человеческим совокупностям перед требованиями Бога*.

Обличитель учения Толстого И. А. Ильин писал, что Толстым „грубое и пошрое насилие усмотрено там, где на самом деле творится живая тайна политического единения”. А ведь под прикрытием такой живой тайны совершалось и совершается очень много зла. На сталинских процессах над всякими выдуманскими уклонистами от подсудимых требовали признания именно с целью сохранения этого самого „политического единения”. Для Толстого — основа-

теля русского персонализма — действительно не было никаких „единений”, кроме единения в Боге. И никакое насилие он не оправдывал ссылками на единение политическое. Думается, что Ильин здесь дальше отходит от христианства, чем обличаемый им Толстой. Для Ильина государство священнее человека, в нем он видит олицетворение людей, призванных осуществлять волю Божию. А потому исполнителям воли государства все позволено: „Понуждающий и пресекающий представитель такого общественного союза (то есть полицейский, сыщик, судья, палач. — Г. А.) делает свое дело не от себя, не по личной прихоти, не по произволу, он выступает как *слуга общей святыни, призванный и обязанный* к понуждению и пресечению от ее лица”*. Да, вот на такой основе и строятся все тоталитарные режимы, и все исполнители воли этих режимов творят зло со спокойной совестью: они „служат общей святыни” — коммунизму, немецкой нации, исламу.

Для Толстого же нет иной святыни, кроме Бога.

Все учение Толстого об отношении человека к совокупностям людей вытекает из персоналистических его взглядов. Для Толстого замысел Божий воплощен в личности. Человек отвечает перед Богом не за государство, не за нацию, а за себя, за свое поведение в мире. Эту мысль в категорической форме выразил и Бердяев: „Весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой”. В письме Александру III Толстой писал: „Бог не спросит Вас об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей”. И так — каждого человека. Человек не несет ответственнос-

* Выделено И. А. Ильиным.

ти за государство, в котором он живет, он несет ответственность за свою верность Богу. (А ведь если все люди будут следовать учению Христа, то и государство лучше будет!) И Бердяев, вслед за Толстым, рассматривает человека не как часть чего-либо — нации, класса, народа, государства, а как „микрокосм, целый универсум”: *„Личность не есть часть и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, хотя бы и огромному целому, всему миру”**. Как и Толстой, Бердяев не признавал истинности совокупностей людей; только личность обладает способностью к страданиям, только она способна понимать страдания, но „ничто в объективном мире, ни нации, ни государство, ни общество, ни социальный институт, ни Церковь этим чувствовалищем не обладают... Никакие общности в объективном мире не могут быть признаны личностью”. Такие понятия, как патриотизм, национальная и классовая ответственность, признаются Бердяевым, вслед за Толстым, *„мифотворчеством”*. Бердяев резко отрицает иерархический персонализм, сторонником которого были такие мыслители, как Лейбниц, Штерн, Лосский, Шестов, утверждавшие, что „нация, человечество, космос ... могут быть рассматриваемы как личности высшей степени. Общности, коллективы, целости признаются личностями, всякое реальное единство может оказаться личностью”. Бердяевский же персонализм признает такое утверждение „противоречащим самому существу личности”, ибо иерархическая концепция принуждена признать человеческую личность частью в отношении к иерархическому целому и „от этого целого получает свою ценность”. Иерархический персонализм, к которому пришел и Солжени-

*Выделено Н. А. Бердяевым.

цын, неизбежно приводит к рабству человека перед совокупностями людей, он оправдывает угнетение человека как *конкретной, чувствующей и мыслящей данности абстрактным плазматическим единством*, называемым то ли государством, то ли народом, то ли Церковью. Бердяев утверждал, что не личность является частью государства или нации, а нация и государство проявляются в личности: „Торжество духовного начала, — писал Бердяев, — означает не подчинение человека универсуму, а раскрытие универсума в личности”. При таком подходе к личности высказывание И. С. Тургенева: „Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись” — не имеет никакого смысла. Если Россия может обойтись без каждого из нас, она, а не мы перестает существовать: Россия есть то, что проявляется в каждом из нас и без нас существовать не может.

Нельзя все же не заметить, что на учении Толстого о государстве лежит отпечаток ограниченного исторического и национального опыта. Вследствие этого мотивировка отказа от служения государству, акцентирование лишь греховного начала в государстве встречаются в трудах Толстого чаще, чем раскрытие условий, при которых служение государству для верующего возможно.

Толстой не знал демократических государственных структур, в которых все больше и больше сокращается разрыв между религиозной моралью, с одной стороны, и государственным правом и государственной практикой, с другой. (Этот разрыв, конечно, никогда не будет ликвидирован, ибо государство служит для подавления воли отдельной личности. Государство, удовлетворяющее всех и во всех случаях, — нонсенс.) Вследствие этого надо, вероятно, согласиться, что учение Толстого о государстве

— точнее, те акценты, которые в нем делаются, — гораздо более актуально для сегодняшней России, вообще для марксистских или называющих себя марксистскими режимов, чем для западных демократий, где частично уже господствует то христианское общественное мнение, о котором мечтал Толстой: „Нужно только, чтобы людям стало так же стыдно делать дела насилия, участвовать в них и пользоваться ими, как стало теперь быть и слыть мошенником, вором, трусом... *А это теперь начинает совершаться*”. Именно начинает, а не совершилось, и именно в странах западной демократии.

Государство на Западе все более и более обращается к решению задачи регулирования интересов труда и капитала. Социальные мероприятия все более и более сближают уровни благосостояний и еще более решительно — юридических прав разных слоев населения*. Когда в Германии судят террористов, то в этом суде защищаются интересы не столько хозяев концернов, сколько всего общества в целом. Когда правительство отчисляет от доходов богачей проценты на социальное обеспечение бедняков и безработных, оно это делает на благо обеих сторон, ибо нищета и отчаяние — источники социальных конфликтов, могущих привести к тотальному взаимоуничтожению, подобному тому, которое произошло в России после октябрьской революции. Разумеется, контрасты богатства и бедности не стерты на Западе полностью. В меньшей мере, но все же остается и правовое неравенство. Важно лишь обратить внимание на то, что в государстве западного типа можно работать, не нарушая правил христианской этики, увереннее, чем в государствах тоталитарных, к которым в полной мере относится все,

*Этот процесс начался и в России после 1906 г.

что говорил Толстой о государстве как о начале только сатанинском.

Опираясь на слова Христа: „Кесарю — кесарево, Богу — Богово”, Толстой объявлял государство организацией безбожной. Он даже подчас игнорировал предложение Христа *отдать* кесарю кесарево. Толстой последовательнее апостола Павла отрицал государство, власть кесаря, а не Бога. Один из участников полемики вокруг антитолстовской книги И. А. Ильина Леонид Добронравов, как и Толстой, противопоставляет Христа апостолам, Евангелие в целом — апостольским посланиям. Он считает, что Христос провел непроходимую границу „между царством, покоящимся на насилии, угнетении и несправедливости, и царством любви, прощения и свободы”. Апостол же Павел, по мнению Добронравова, — и здесь он идет еще дальше Толстого — не просто подчинил христианина царству кесаря: „Тут большее: признание его (царства кесаря) равносущным Царству Божию, тут начало скрытой капитуляции христианства перед царством мира сего”. И Добронравов, вслед за Толстым, призывает следовать не за апостолами, а за Христом, для Которого земная власть над царствами есть власть дьявольская. Царство кесаря есть зло, и против зла надо бороться, чтобы его преобразить в добро, но в Царстве Божьем есть только „не убий!”

Таким образом, можно исходить из того, что учение Толстого о государстве абсолютно истинно как воззвание к религиозному идеалу, абсолютно истинно по отношению ко всем формам тоталитаризма, однако в свете новых исторических явлений было бы ошибочным относить подчинение и служение государству к числу самых больших грехов. В этом случае можно опираться на утверждения Толстого, во-первых, о том, что религиозное сознание не мо-

жет быть вечным и неизменным, оно развивается, как и любое человеческое знание, а во-вторых, на его учение о градации грехов: подчинение государственной власти и даже участие в отдельных ее органах не является страшным грехом, если это государство не тоталитарное и если, служа ему, человек не преступает основной заповеди Христа, как ее понимали патриарх Тихон и Гаррисон, как ее трактовал и сам Толстой.

Толстой ведь понимал, что человек не может сразу прийти к совершенству: „Путь совершенствования человека, — писал он, — бесконечен. И в каждую минуту исторической жизни есть суеверия, обманы, вредные, злые учреждения, уже пережитые людьми (людоедство, религиозная проституция, сжигание на кострах, шпицрутены), ставшие прошедшими, есть такие, которые представляются нам в далеком тумане будущего, и такие, которые составляют задачу нашей жизни. Таковы в наше время смертная казнь, проституция... милитаризация, война... частная земельная собственность”. Запад-ные демократические государства — это как раз такие действительно злые учреждения, которые еще не пережиты людьми и устранение которых — задача не сегодняшнего поколения, а того, которое будет жить „в далеком тумане будущего”. Однако эти государства стремятся преодолеть то, что возможно преодолеть на уровне сегодняшнего религиозного сознания: они не допускают не только смертных казней, но и пыток; они не строят стен со стреляющими устройствами между странами; они вообще почти ликвидировали границы, таможни, цензуру, отменили паспорта, прикрепляющие человека к постоянному месту жительства; они не вмешиваются в духовную жизнь человека; они не защищают интересы богачей в ущерб интересам бед-

няков, — словом, не являясь учреждением христианским, современное демократическое государство стремится не отставать от современного уровня религиозного сознания.

II

Сила и христианская нравственность, по Толстому, — явления из области разных религиозных представлений. С точки зрения христианства, тот, кто утверждает себя или излюбленные свои идеи с помощью насилия, — самый безнравственный человек. Самые же страшные насильники, а следовательно, наиболее безнравственные люди — это политические деятели. Вряд ли может быть сомнение в том, что ни один уголовный преступник не погубил столько людей, сколько это сделано по приказу королей, полководцев, министров, революционных вождей. „Слабым мановением руки” любой военачальник приказывает уничтожить неизмеримо больше людей, чем все уголовные преступники его времени вместе взятые. И вместе с тем этот самый страшный преступник не только не осуждается, но превозносится как герой. Это стало возможным как раз благодаря двойной морали общества, двойной точке отсчета. В одном письме Толстой писал: „Человек считается опозоренным, если его били, если он обличен в воровстве, драке, в неплатеже карточного долга и т. п., но если он подписал смертный приговор, участвовал в исполнении казни, читал чужие письма, сажал в тюрьму? А ведь это хуже”.

Следовательно, чтобы стать правителем, надо отказаться от морали религиозной и усвоить и принять мораль общественную, государственную.

„Нравственный, добродетельный государственный человек есть такое же внутреннее противоречие, как нравственная проститутка, или воздержанный пьяница, или кроткий разбойник”, — говорит Толстой в статье „Единое на потребу” и приводит обширную выписку из Макиавелли, где тот дает рекомендации правителю, какими методами надо удерживать власть: лгать, грабить, насилловать.

Наша современность дает такие образцы аморальности правителей (и не только тоталитарных государств), что в сравнении с ними блекнет развращенность государственных деятелей, которых клеймил Толстой. Мораль современного государственного деятеля построена на обратном от морали христианской. Причем многие государственные деятели живут двойной моралью: в государственных делах — моралью общественной, в личных — религиозной. Правители же тоталитарных государств более монолитны в этом отношении: они вообще не знают религиозной морали, морали общечеловеческой, у них своя мораль, мораль Цели, которая оправдывает средства даже в том смысле, что Цель становится им вообще не нужна, а важны средства для достижения своей цели, цели с маленькой буквы, — удержания власти и пользования привилегиями, которые власть эта предоставляет.

Мораль нормального человека требует верности данному слову. Политик, верный своему слову, — внутреннее противоречие: тогда он не политик. Ни один, даже демократический, правитель ни разу не выполнил всех своих обещаний, которые он давал перед приходом к власти. Когда он — частное лицо — дает слово, он сначала обдумывает, сможет ли его сдержать. Политик же, давая слово, мало раздумывает о возможности выполнить обещание, а правитель тоталитарный для того и дает слово, что-

бы его не выполнить. Когда, например, Гитлер заключал всякие договоры о ненападении или давал гарантии безопасности, он делал это именно для того, чтобы подготовить нападение и нарушить гарантии. Подписывая соглашение о соблюдении прав человека или о сокращении вооружений, представитель советского правительства никогда не собирается изменять что-то в правах граждан СССР (он уверяет весь мир и советский народ, что эти права и так осуществляются в СССР самым наилучшим образом), — а только в правах жителей других стран; разоружаться он тоже не имеет никаких намерений и подписывает соглашение о сокращении вооружений, чтобы разоружить соперников.

Нельзя предавать — это знает каждый порядочный человек. Мораль правителя -- всегда (у правителя тоталитарного государства) или иногда (у других правителей) — мораль предательства. Гитлер убивает своего друга Рема (который просто не успел предать Гитлера). Сталин и Мао убивают всех своих друзей поочередно, хотя, впрочем, они и не знают, что такое верность в дружбе, что такое дружба вообще. Сталин предает даже свой народ, что, кажется, весьма редко бывало в и без того достаточно аморальной истории; ибо чем, как не предательством своего народа, можно назвать трагедию советских военнопленных во время антифашистской войны? Изменник Фуше — идеал верности по сравнению со Сталиным: он не планировал предательств, как Сталин. Фуше предавал, когда находил, что новый сюзерен поможет ему удержаться у власти дольше и надежнее, чем старый, однако предательство не было у него разработанным принципом политики. Сталин же мог во время торжественного приема нежно обнять своего верного соратника и шепнуть ему на ухо, что на следующий день убьет

его (случай Косарева). Сталин мог предать сына, жену, соратников, весь народ. Однако и на совести правителей западных демократий есть не одно предательство: выдача советских военнопленных и казаков английскими властями на расправу советскому правительству, брошенный Вьетнам, а еще в 30-е годы преданные Чехословакия и Австрия — все это не украшает правителей западных демократий.

За убийство одного человека уголовный преступник может попасть на пожизненную каторгу или быть казненным. Многие нацистские преступники в Западной Германии за убийство сотен людей получили незначительные тюремные сроки, так как „выполняли приказ”. В своих воспоминаниях русский эмигрант Владимир Гессен рассказывает об одном из судов над нацистскими убийцами („Главный подсудимый, эсэсовский „оберштурмфюрер” Вольфганг Вецлинг, обвинявшийся в убийстве 150 человек, был приговорен к... 5 годам тюрьмы. А помощник его Клене, лично принимавший участие в убийстве 71 человека, получил полтора года тюремного заключения... за каждое убийство... примерно восемь дней тюрьмы”).

Мораль обыкновенного человека запрещает ему не только общаться, но и просто подавать руку ворю, развратнику, убийце. Мораль западных политиков никогда не мешала им тепло, за рюмкой вина, беседовать с Гитлером, Сталиным, Мао Цзедуну, на совести у которых преступлений неизмеримо больше, чем у того несчастного лондонского кокни, которого английская аристократия не подпустит к себе на пушечный выстрел. И добро бы лишь вели переговоры с преступниками, а то ведь и „к сердцу жмет, от глубины души вздохнет”! И не полным ли разделением морали государственной и человеческой будет прославлен Нюрнбергский

процесс, где советские судьи, совершившие не меньшие преступления против своего народа, сидя за одним судейским столом с демократами из западных стран, гневно клеймили нацистов, своих вчерашних единомышленников?

Об этой двойной морали государственных людей очень резко говорит и Бердяев: „Произошел радикальный разрыв между моралью личной, особенно моралью евангельской, христианской, и моралью государственной, моралью царства, моральной практики „князей мира сего“. То, что почиталось безнравственным для личности, почиталось вполне нравственным для государства... Никто не мог никогда толком объяснить и оправдать, почему несомненные пороки и грехи для личности, — гордость, самомнение, эгоизм, корыстолюбие, ненависть, кровожадность и насильничество, ложь и коварство оказываются добродетелями и доблестью для государства и нации”.

Думается, что такой подход к государству — привилегия русской философии. Для русской религиозной философии характерно рассмотрение этических проблем как основополагающих для религиозного сознания. Толстой, Бердяев, Солженицын представляют тип русского религиозного сознания. Мережковский же кажется при сравнении с этими философами явлением не характерным для русской религиозной мысли, особенно когда он восславляет Наполеона с целью разоблачения „слабости“ Толстого как личности и как религиозного проповедника. В отличие от Мережковского, Бердяев видел, что именно *Толстой был первым, кто оценил политических деятелей с позиции христианской морали*, а не государственной патриотической веры: „Только гипноз заставляет думать, что Наполеон говорил глубокомысленные вещи. Лев Толстой хорошо знал

цену великим историческим деятелям, он понимал ничтожество исторического величия. Большинство этих великих деятелей, государственных умов к тому же отличалось преступностью, лицемерием, коварством и наглостью". Бердяев, так же, как Толстой, считал, что человек вне государства моральнее человека, выражающего государство: „Человек начинается там, — писал он, — где кончается государство".

Таким образом, по Толстому, государство — носитель аморальности, безбожия. Нет таких грехов, которые не числились бы за любым государственным правителем.

Мы все же можем определить различие между тоталитарным правителем и руководителем западной демократии; различие это в степени преднамеренности: вожди тоталитарных режимов намеренно нарушают нормальную человеческую мораль, ибо отрицают ее, считают ее недостойной сильного политического деятеля („еврейское расслабляющее милосердие"). Правители же христианских демократических стран отступают от требований религиозной морали вынужденно, особенно когда они имеют дело с политическими бандитами. (В данном случае понять никак не значит простить.) К тому же западные демократические политики все чаще и чаще совершают действия, соответствующие христианской морали, требованиям совести, чего *никогда* нельзя ожидать от тоталитарных правителей, поскольку они считают совесть или „химерой", как Геббельс, или „буржуазным предрассудком", как коммунисты.

Толстой сказал в „Войне и мире", что „не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших человеческих ка-

честв — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него не достанет терпения)”. Эта необходимость „отсутствия (!) качеств”, присущих человеку с нормальной моралью, действительно, определяет своеобразие государственного деятеля. Когда Солженицын встретил в редакции „Нового мира” крупнейшего полководца второй мировой войны Конева, он показался ему простым невзрачным человеком, где-то на уровне председателя колхоза. Вне своих политических, государственных функций деятель тоталитарного государства — совершеннейшая посредственность.

Так что теория, согласно которой власть предрешающие — это лучшая часть общества, опровергнута всей мировой историей, и не Марк Аврелий, Линкольн или Картер, а Сталин и Гитлер — типичные фигуры на сцене государственного театра. Толстой в образе Наполеона, а Солженицын в образе Сталина („В круге первом”) не отошли от правды, изображая своих героев ничтожествами, если их оценивать с высот религиозной, а не общественной морали.

Мережковский, представитель аристократического варианта православия, который видел в Наполеоне сильную личность, осуществлявшую христианскую задачу воплощения человека в Бога, возмущается тем, что Наполеон изображен у Толстого, как животное: не показаны его глаза, его лицо, величие его духа. Толстой же принадлежит к иному потоку в христианстве: он видит величие духа не в насилии, не в подавлении слабых: „Нет величия там, где нет простоты, добра и правды”. Мережковский восхищается деспотизмом Наполеона, силой его духа, выражающейся в подчинении им себе других лю-

дей. С восторгом приводит он обращение Наполеона к солдатам: „Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы должны мне пожертвовать ею”, или „Я не такой человек, как все, и законы нравственности или общественных условий не могут иметь для меня значения”. Величие Наполеона, следовательно, в его аморальности. Истинный христианин, по мнению Мережковского, должен воспеть Наполеона, ибо в нем „скрывается нечто высшее, потустороннее, первозданное, премирное — религиозное... И если он погиб, то не потому что *слишком*, а потому что все-таки недостаточно любил себя”.

Толстой неоднократно обличался с позиций такого „христианства”.

Солженицын потому и должен считаться великим продолжателем Толстого, что он оценивает так называемых великих людей не с точки зрения их могущества, их силы и их аморальности, а с точки зрения христианской нравственности. И другой последователь Толстого, Н. А. Бердяев, ставший после отказа от „Философии неравенства” на позиции толстовского христианства, писал: „Романтизм войны... есть самый отвратительный романтизм, так как он связан с убийством, и притом не имеющий никаких оснований”. Всех этих наполеонов Бердяев называет вслед за Толстым разбойниками: „В руки людей, одержимых волей к могуществу, соблазненных ложными ценностями, попадают страшные орудия, по сравнению с которыми прежние орудия были детскими игрушками”. Они, эти люди, создают государства, которые очень похожи на банды разбойников. Но с той разницей, что у разбойников есть свои понятия о чести, свои понятия о справедливости, свои нравы, чего у государства, одержимого волей к власти, нет”. Так рассуждает один из создателей персоналистического христианства.

III

Патриотизм — одна из центральных проблем третьего и четвертого тома „Войны и мира”. Здесь патриотизм, в сущности, единственное объяснение причины победы русского народа над французской армией. В отдельных философских отступлениях романа, например, в отступлении о народной войне, Толстой восхваляет немудрящий народный патриотизм („И благо тому народу...”). Вместе с тем, уже в этом романе Толстой безусловно отвергает патриотизм как учение и как убеждение. Патриотизм утверждается здесь как иррациональное чувство. Вместе с тем, непосредственное отражение жизни в „Войне и мире” заставляет усомниться в том, что создатель этого художественного космоса (напомню чудесные слова Н. Н. Страхова: „Если бы природа умела писать, она бы написала „Войну и мир”) принимал патриотическое чувство за религиозное достижение человеческого духа.

Главный образ романа, довлеющий над всем его образным миром, — образ сферы, заверщенного круга; вселенную Толстой видит какдвигающийся поток. А душу человека — устремленной ввысь (отсюда частое упоминание в романе „далее”). Чем духовнее герой романа, тем больше ощущает он свою связь с этими далями, с этой сферой. Герои романа по-разному соотносятся с движением ввысь, к небу. Одни герои вообще не способны к движению. Они застыли в своем самодовольстве и тем самым исключены из движения вверх, к небесным сферам. Они не чувствуют себя частицей мира. Они мало вмещают в себя. И вот такие бедные натуры или исповедуют патриотизм, или ощущают его в себе как нечто завершенное и окончательное. У героев же, вписывающихся в мировую сферу, движущих-

ся в ней, патриотическое чувство определяет поведение лишь в короткий временной отрезок — в период войны. Герои, живущие только этим чувством, проходят в романе стороной. Таковы Денисов, Тихон Щербатый. Их внутренний мир достаточно упрощен, он застыл в одной патриотической функции, он не сливается со сферой. Сфера же стянута вокруг таких героев, как Платон Каратаев, Кутузов, Наташа Ростова, Петя Ростов. Их сознание, их дух парят над временным, патриотическим чувством, которому они не чужды, но который не определяет их исчерпывающе. А главное — каждый из них в какой-то момент вообще испытывает некоторое неудобство из-за этого чувства. Николай Ростов в первом бою с вторгшимся в Россию врагом ранит саблей француза, а потом „что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему”. Пьер Безухов едет на Бородино из патриотических чувств, а в конце битвы начинает понимать, к каким страшным последствиям приводит людей патриотизм с оправдываемыми им войнами, и это испытанное Пьером на Бородине чувство остается одним из этапов его движения к познанию „круглого” мира, в котором надо „сопрягать”. Патриотическое чувство и князя Андрея, и Пьера в какой-то момент их развития осознается ими как пройденный этап в исканиях Бога. В день Бородинского сражения князь Андрей думает о всей своей жизни: „Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня *ложные* образы, — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня — ясной мысли о смерти. — Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись

чем то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, *самое отечество* — как велики *казались* мне эти картины, какого глубокого смысла *казались* они исполненными!”* На каком-то этапе их развития *герои Толстого видят патриотизм как заблуждение* по сравнению с чем-то более значительным и истинным.

Толстой не считал патриотизм *вообще* неистинным: патриотизм может быть этапом на пути к более высокой истине. В одном из писем Толстой говорил: „Ищущий истину всегда прав в данный момент; потом он познал более высокую истину и был прав, признавая ее”.

Я как-то спросил у Н. Н. Гусева, как Толстой после перелома, в конце своей жизни, относился к патриотическим главам „Севастопольских рассказов” и „Войны и мира”. Николай Николаевич рассказал, что однажды Толстой высказался о патриотических главах романа как о слабых и созданных под влиянием Урусова и Самарина. Отголоски такого отношения содержатся в комментариях Толстого к картинам художника Орлова „Типы русского народа”: „Это настоящие мужики, не те, которые победили Наполеона”.

Поэзия в романе связана с небом и далями; проза, заблуждения людей — с землей, с политической суетой. Небо с его сферической завершенностью приобщает людей к Богу, зовет к единению вокруг Него. В разгаре Аустерлицкого сражения и битвы при Бородине небо затянуто или туманом (при Аустерлице) или дымом (при Бородине). Всюду кровь, мечущиеся по земле, ненавидящие друг друга люди, забывшие о небе. А вот когда русские солдаты принимают к костру обмороженных Рамбаля и Мореля,

* Выделено мною. — Г. А.

Толстой переводит внимание читателя к небу: „Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между собой”.

Толстой — создатель „Войны и мира” — смотрит на людскую суету с высоты своего понимания сути бытия и рисует истинную шкалу ценностей, в которой патриотизм занимает совсем не самую высокую точку.

Эта высшая точка истины, выраженной через красоту, воплощенную в музыке небесных сфер, открывается во сне Пете Ростову: „Небо было такое же волшебное, как и земля (преобразованная Петиним сном. — Г. А.). На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды... Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его”. Небо, слившееся с землей, представляется как высшая поэзия (как воплощение небесного Духа в Христе), не осуществляемая на земле в полной мере: „Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность”. Увидевший лишь во сне этот преображенный мир, Петя услышал и музыку единения: „И вдруг Петя услышал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно-сладкий гимн... Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное”. Петя про-

сыпается и слышит голос казака Лихачева, натачивающего саблю: „Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете”. Это голос уже не поэтического, а жестокого безбожного мира, мира войны, войны патриотической. Распластать — то есть *разделить, чтобы убить*. Патриотизм как выражение единения людей одной нации — это единение земное, материальное, оно противостоит единению духовному, единению людей в Боге, а не в человеческих общностях. Не всякое единение религиозно возвышенно и значительно. Единение толпы, растоптавшей Верещагина, — единение сатанинское, единение же патриотическое опасно тем, что оно скрыто флером кажущейся вечной истины. Пьер на Бородине почувствовал в себе это единство с солдатами, „семейное чувство”. Потрясения этого дня, а затем плена привели Пьера к иному, более высокому чувству — чувству единения с небом, с миром. „Леса и поля, невидимые прежде вне расположения лагеря, открывались теперь *вдали*. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная *даль*. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер”. Человек ощущает себя единым с небом, с Богом вне патриотического чувства, которое хоть и выше, скажем, чувств эгоизма и заботы о своей шкуре, но никак уж не может быть освящено религиозным сознанием.

Вряд ли следует безусловно соглашаться с Толстым, пришедшим к концу своей жизни к полному отрицанию возможности позитивного воздействия на человека чувства патриотизма и даже разумного стремления к патриотическому служению. Строго придерживаясь религиозного закона, согласно которому нет ничего более высокого, чем служение

Богу (в том числе и служение Родине), возможно исходить все же из патриотических концепций „Войны и мира” в большей степени, чем из таких статей, как „Христианство и патриотизм” или „Патриотизм’ и правительство”.

В „Войне и мире” Толстой показывает „скрытую теплоту патриотизма”, которую ощутили в себе русские люди во время нашествия французов. Это чувство патриотизма объединило всех русских людей (а единение — благо!) и привело к спасению России. Однако, объединяя одних (русских), патриотизм приводил к разъединению их с другими людьми (французами) и возбуждал не только любовь (к своей земле, к своей свободе), но и ненависть (к другим людям). Потому-то в „Войне и мире” читатель всегда чувствует высшие, чем патриотическое, состояния — вселенства, любви и примирения.

Патриотизм — реальность, которую Толстой неправомерно отрицал в последних своих произведениях.

Человек не может охватить весь мир в своем служении Богу. Любой мыслящий человек, даже с мировоззрением космополита, волей или неволей сосредоточивается на болях своей Родины. Пример тому — Солженицын. Он сказал в Нобелевской речи с укором: „В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и *неуступчиво, самоуверенно* судят только по своей шкале, а не по какой чужой... Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам”. И тут же, в этой самой речи, даже в этом самом абзаце, показал, что он тоже один из тех, кого можно укорить за понимание лишь своей боли, ибо, перечисляя бедствия человеческие, Солженицын выстроил свои примеры таким

образом, что страдания России оказались на самом высоком уровне шкалы, а страдания всего остального мира — неизмеримо ниже. (Это и Маяковский, уж абсолютный космополит, писал о России: „Но земли с еще большей болью не довелось видеть мне“.) Но не надо нам бросать камнем в великого болельщика за страдающий русский народ. Прав он, когда в этом же абзаце Нобелевской речи говорит: „И за это двоение, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек“. Призыв Солженицына, заключающий эту часть речи, звучит как слово великого христианина, а не ограниченного патриота: „При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами“. В этом призыве к созданию единой шкалы нравственного отсчета — прекрасная утопия, неосуществимая, пока будут люди разноразличия (ибо язык — не только средство информации, но и материя образа). Однако *эта* утопия — необходимая, как нужен идеал в качестве далеко светящего маяка.

Толстой последних лет прошел мимо лучших проявлений патриотизма, сосредоточив свое внимание на его отрицательных последствиях. Поэтому, думается, мы сделали бы правильно, если бы судили об отношении Толстого к патриотизму на основании совокупного рассмотрения „Войны и мира“ и статей позднего периода. В „Войне и мире“ Толстой рассматривает как положительные (поэтические), так и отрицательные (политические) аспекты патриотизма. Так что уже там он не покидает религиозных позиций и поэзию единения в Боге ставит выше поэзии единения в нации.

В статьях после перелома Толстой не обращается к позитивной стороне патриотического чувства и тем более патриотического сознания, считая первое глупым, а второе — преступным.

Все же патриотическое сознание не всегда опасно для дела Божья. Важно лишь для себя верно определить, какого блага ты хочешь Родине и какими средствами ты хочешь этого блага достичь.

Что касается сегодняшнего русского патриотизма, то он проявляется в лучшем своем выражении у тех русских людей, которые хотят ненасильственным способом привести Россию к демократии. Величайшими патриотическими документами, пронизанными как раз религиозным сознанием, являются статья Солженицына „Жить не по лжи” и все написанное А. Д. Сахаровым. Истинным патриотом в начале XX века был Лев Толстой, а не Николай II и не Ленин, ибо оба эти последние хотели вырвать Россию из демократии.

Обрушиваясь на патриотизм как чувство и убеждение, Толстой, в сущности, сужает само понятие патриотизма до понятия подданства, то есть оставляет за патриотизмом лишь его государственно-политическое содержание. И в этом смысле он неопровержим, ибо, как всегда, исходит из своего целостного религиозного сознания. Поэтому в статье „Патриотизм и правительство” Толстой правомерно заявляет, что нет хорошего и плохого патриотизма, он всегда плох, ибо служит не единению, а разъединению. Разумеется, стремление к благу только своего народа не ведет к единению, если это делается за счет другого народа. Но если я добиваюсь, чтобы у меня на Родине восторжествовали человеческие отношения, приближающие мой народ к идеалу Христову, то я тем самым способствую уничтожению пороков и нравственных преступлений, веду-

щих к разъединению. Так что сам патриотизм не может быть ни плохим, ни хорошим: он хорош, если он подчинен Богу, и плох, если подчинен дьяволу. Патриотами теперь называют себя и те, кто несут крест, и те, кто на нем распинают. А распинают как раз служители государства, вот потому-то и прав Толстой, говоря, что *такой* патриотизм всегда плох. *Такой* патриотизм — „чувство безнравственное потому, что, вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, — всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести”.

Толстой так же, как и потом Солженицын в Нобелевской речи, выражает мечту о человеке, который сможет видеть мир глазами сына Божьего, а не сына своего государства: „Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо отечеств и правительств, а сыны Бога, а потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей”. Эта истина была бы даже не мечтой, а вполне достижимой реальностью, если бы Толстой сказал несколько иначе: прежде всего — сыны Бога, а потом и отечества. Так же, как человек не может понять, что он не сын своей матери, а сын всех матерей мира, он не может понять, что он не сын своей Родины. Это мог сделать Христос, человек, который потому-то и остался в сознании людей как Сын Божий, что встал над любовью к матери и отцу — Иосифу: „Когда же, по окончании дней праздника возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его... И не найдши Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего

их и спрашивающего их... И увидевши Его, удивились; и Мать Его сказала Ему: Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов" (Лук. III, 43, 45, 46, 48-50).

Да, человек не может понять, что он не сын своей матери и своего отца, это может только человек богоподобный. Но человек может понять, что нельзя во имя своей матери делать зло другим матерям. Так же он уже сегодня может, руководствуясь религиозным сознанием, служа своей Родине, не совершать дел, угодных не Богу, а дьяволу. В этом смысле верно утверждение Толстого, что патриотизм — отжившее понятие, и в этом смысле „отжившее чувство патриотизма должно... как излишнее и несовместимое с вошедшим в жизнь сознанием братства людей разных народностей, все более и более уничтожаться и совершенно исчезнуть”.

Постольку, поскольку сегодняшние правители России используют идеи и чувства патриотизма в самых страшных целях, учение Толстого о патриотизме актуальнее, может быть, тех учений, которые подчеркивают позитивное содержание этого чувства и этой идеи. То есть и в этом случае учение Толстого имеет большее отношение к странам тоталитарным, чем к странам демократическим, в которых, кажется, ощущается недостаток здорового патриотического чувства и положительной патриотической идеи, на что справедливо указывал в своих речах по западному телевидению Солженицын. Только нехваткой патриотического чувства и патриотического сознания можно объяснить космополитизацию культуры, к которой склонны определенные слои западной интеллигенции, а также настроения потре-

бительства у одной части западного общества и непонимание преимуществ социальной его организации — у другой, мечтающей о создании вместо демократии социализма по советскому, а то и по китайскому образцу.

*

Как когда-то перед Толстым, так и сегодня перед всеми противниками тоталитарных режимов стоит вопрос о путях борьбы с этим режимом.

Отказаться от борьбы христиан не может. Утверждение советских толстоведов, что учение Толстого отвлекает-де от борьбы, в лучшем случае — результат недостаточного понимания этого учения. Все учение Толстого — это учение о преодолении. В этом отличие его от учений, в частности, индийских. Даже если иногда Толстой в каких-то отдельных работах говорит об устранении от борьбы, то надо понять, что эти отдельные фразы выпадают из пафоса учения в целом.

Постольку, поскольку смысл человеческой жизни определяется как нравственное усовершенствование, а это усовершенствование понималось Толстым как преодоление требований плоти, то логично вытекает отсюда *требование борьбы с теми общественными явлениями, которые мешают нравственному усовершенствованию*. Нельзя считать нравственным человека, который примиряется со злом. Многие люди — как современники Толстого, так и позднейшие его исследователи — выражают удивление по поводу, например, статьи Толстого „Не могу молчать!” и обличают его в страшном противоречии: призывает к терпению, а сам не терпит и кричит! Однако ни к какому терпению — в смысле примирения со злом — Толстой не призывал: он звал к

неустанной борьбе с царящим злом как к обязанности христианина. Другое дело, что представление Толстого о борьбе отличалось от привычных представлений, от наиболее распространенных теорий.

В сущности, наиболее известны четыре способа противостояния общественному злу. Первый — самый простой для примитивного, атеистического сознания — путь насильственного свержения строя, обличаемого за несправедливость, путь революции. Второй способ — включение себя в деятельность правительства с целью смягчения его злых начинаний, осуществления гуманистических реформ. Третий путь — отшельничество, уход в монастырь, в церковное служение Богу. И четвертый — бегство в другое общество (эмиграция).

Думается, что, кроме первого, ни один путь не может быть с безоговорочной суровостью осужден. Второй путь — путь либералов — все же может стать аморальным. Его сейчас выбирает некоторая часть советской интеллигенции, та, которую Солженицын назвал „образованщиной”. Избравшие такой путь рассуждают, как тот тюремный смотритель в „Воскресении”: „Кто другой на моем месте не так повел. Все-таки, что могу, смягчаю”. Для тоталитарных правителей такие добряки очень удобны: не изменяя ничего в структуре строя, не неся опасности благополучию олигархов, они подкрашивают фасад тоталитаризма. И все-таки трудно осуждать их категорически, коль скоро они приносят добро каким-то конкретным людям: кто-то скажет о них благодарное слово. В демократическом же обществе либералы — наиболее полезные деятели. Именно благодаря их неустанному стремлению к реформам, к усовершенствованию общественных отношений без разрушения господствующей демократии осуществляется политический прогресс.

Третий путь — путь полного отключения от государства, с его злом, с насилиями, с несправедливостями, кажется осуществлением Христова „Отойди от Меня, сатано!”.

По свидетельству Татьяны Горичевой, в России сейчас возникло движение, которое, конечно же, пришлось бы по сердцу Льву Толстому, — монашество в миру; участники этого движения, работая в государственных учреждениях (в школах, больницах и т. п.), отдают себя служению страждущим по законам Божьим, а не государственным и общественным.

Эмиграция по политическим мотивам есть, конечно, вызов тоталитаризму. Эмигрант готов на страдания, на риск отчуждения и даже нищеты в другой стране, лишь бы не участвовать в преступлениях „своего” государства. Однако сегодняшний эмигрант не только проигрывает, не только страдает на чужбине, но нередко и приобретает благополучие в сытом западном мире. И не многие из эмигрантов продолжают за границей дело борьбы с тем обществом, от которого они бежали: тело заплывчато, а память забывчива.

И есть пятый путь — противостояние власти, путь, за который ратовал Лев Толстой. Предлагая свой способ борьбы, Толстой исходил как из своего понимания христианства, так и из исторического опыта человечества.

IV

Персоналистическое учение Толстого требует от каждого человека ответственности за свои поступки перед Богом, а не перед людьми. Вследствие этого ни один человек не может считать своей обязан-

ностью служить человеческим сообществам, таким, как нация, класс, партия, государство. Человек есть орудие в руках Божьих, а не человеческих. Эта мысль развивалась до Толстого и Кантом. Вслед за Кантом один из лучших его переводчиков на русский язык, великий русский философ Вл. Соловьев, писал: „Никакой человек ни при каких условиях и ни по какой причине не может рассматриваться как средство для каких бы то ни было посторонних целей, — он не может быть средством или орудием ни для блага другого лица, ни для блага целого класса, ни, наконец, для так называемого общего блага, то есть блага большинства других людей”.

Толстой же не видел ни в одной человеческой общности ничего равного общности людей в Боге.

Если же человек соглашается участвовать в делах, например, государственных, он становится ответственным за все, что делается от имени государства. Более того, сами эти дела становятся возможными лишь при условии участия в них народа. В одной своей статье Толстой приводит понравившиеся ему слова Даймонда: „...преступления правителей делаются нашими, если мы, зная, что это преступления, содействуем их совершению... Те, которые полагают, что они обязаны повиноваться правительству и что ответственность за совершаемые преступления переложится на их государей, сами себя обманывают”.

Участие людей в дьявольских делах правительства сделало возможным существование такого преступного учреждения, как государство. Все профессии, нужные для осуществления правительственных преступлений, созданы правителями с их греховной жадной власти и греховной самоуверенной гордыней, с их убеждением, что они вправе по своему усмотрению кроить мир и определять судь-

бы людей. Если бы люди сознавали греховность помыслов тех, кто их позвал совершать безбожные дела, если бы они, короче говоря, имели веру в Христа, а не в общественные идеи, не было бы насилий, ибо правителям неоткуда было бы взять тех, кто эти насилия осуществлял бы от имени правительства (нации, класса, партии, государства). А то ведь люди, поддавшись соблазнам, которыми их привлекают демагоги, помогают им в насилиях, а потом вдруг ужасаются тому, что натворили они и что сделалось с ними самими. Так, немцы после поражения все сваливали на Гитлера, а русские в свое время будут все валить на большевиков. Если Гитлер и большевики в чем и виноваты, так это в распространении лживой религии нацизма и марксизма-ленинизма. Но людям, которые знали учение Христа, — а и русские в 1917 году, и немцы в 1933 году его знали, — нечего сваливать вину на правительство: они действовали заодно с ним. „Не микадо и не Николай II, — писал Толстой в 1905 году, — сделали и делают войну, а делает это то устройство людей, при котором микадо и Николай могут причинить несчастья миллионам людей”, а потому, продолжал Толстой в другой статье, „не убивать надо Александров, Николаев, Вильгельмов, Гумбольдтов, а *перестать поддерживать* то устройство общества, которое их производит”.

Толстой видел единственно христианский *путь уничтожения* государственного зла — *путь неучастия* в нем. Перестав участвовать в государственных насилиях, человек и душу свою спасает, и содействует сокращению зла на земле. Суть своего учения о неучастии Толстой сформулировал в статье „Царство Божье внутри нас”: „...не служить правительству и не усиливать его власть, если считаешь власть эту вредною, не пользоваться этим строем, если счи-

таешь его неправильным, не высказывать уважения разным обрядам, если считаешь их вредным суеверием, не участвовать в судах, если считаешь их устройство ложным, не служить солдатом, не присягать, вообще не лгать, не подличать”.

Как видно отсюда, Толстой не был категоричен; полное неучастие в государственной жизни он обуславливал пониманием греховности этого строя. Тут важны эти „если”. Толстой не закрывал перед верующим человеком путей к участию в жизни государства. Хотя ему самому не пришлось увидеть таких государств, в деятельности которых христианин мог бы участвовать, но возможность возникновения их он допускал и союзом „если” выразил.

Понимал Толстой и то, что отказ от участия в государственной службе, особенно когда к ней принуждают (что бывает в деспотических и тем более в тоталитарных государствах), требует огромного мужества. Толстой сознавал, что *отказ от служения правителям есть форма борьбы*, и борьбы, которая может закончиться весьма трагически, а выгод никаких не обещает. Этого не понимают те, кто обвиняет Толстого в том, что он предлагает, дескать, легкий путь — бороться с государством не с помощью насилия, стреляя в людей и подставляя свою грудь под пули, а просто не участвуя в его делах.

Само представление о силе и слабости, о героизме и трусости требует уточнения и, может быть, пересмотра в свете опыта XX века. Кто сильнее — насильник или отказывающийся совершать насилия и ограничивающийся проповедью? История показала, что тот, кто прибегает к физическому насилию, делает это не от силы, а от слабости: он *бессилен* разрешить проблему без физического принуждения. „Насилие, — писал Бердяев, — не только не тождественно с силой, оно никогда не должно быть

связываемо с силой. Сила в более глубоком смысле означает овладение тем, на что она направлена, — на господство, при котором всегда сохраняется внеположность, на убеждающее, внутреннее, покоряющее соединение. Христос говорил с силой. Тиран никогда не говорит с силой. Насильник совершенно бессилен над тем, над кем совершает насилие. К насилию прибегают вследствие того, что не имеют никакой мощи над тем, над кем совершают насилие”. Из такого понимания силы и слабости Бердяев делает вывод, что „величие мысли Льва Толстого и заключается в желании освободить человеческое общество от страха”. *Трусости насильников Толстой противопоставил героизм неучастия.* Толстой не только был против бессильного олимпийского равнодушия ко злу, он неустанно звал к революции, суть которой определил как раз Бердяев: „Самая трудная революция, которая никогда еще не была сделана и которая была бы радикальнее всех революций, это революция персоналистическая, революция во имя человека, а не во имя того или иного общества”.

Борьба с правительством путем неучастия внешне негероична, незаметна, но приводит к более сильным потрясениям в безбожном государстве: „Враги-революционеры извне борются с правительством. Христианство же вовсе не борется, но изнутри разрушает все основы правительства”. (Здесь Толстой не совсем удачно формулирует свою мысль, говоря, что христианство „не борется” с правительством. Разумеется, это борьба, но борьба не обычными средствами.)

Наиболее жестокие и весьма пронизательные тираны наказывали не только врагов своих, но и неучаствующих, отошедших от политических дел людей. Якобинцы призывали к расправе с теми, кто не

помогал революции (с „равнодушными”), в советском уголовном кодексе есть статья, карающая за доноительство, а на практике многие люди в СССР караются не за то, что они совершили, а за то, что они не сделали нужных для правителей вещей. Воинская служба в Конституции СССР кощунственно названа „священным долгом”. Не каждый рискнет нарушить этот „священный” долг убивать и быть убитым за власть безбожных правителей. Очевидно, что само ослабление связи каждого человека с государственной властью губительно для тоталитарного государства. И не случайно, чем более тоталитарно государство, тем более оно стремится прикрепить к себе своих подданных.

Учение Толстого о неучастии может быть правильно понято, если будет определено как *активное неучастие*, что отличает это учение от монашеского отстранения от зла государства. И. А. Ильин проявил несколько небрежное отношение к анализируемому им толстовскому учению, что и привело его к такому суждению: Толстой „освобождает человека от призвания участвовать в великом процессе природного просветления и в великом историческом бое между добром и злом”. И. А. Ильин утверждает, что „последнее слово ее (толстовской морали) есть *религиозное безволие и духовное безразличие*”*. Вряд ли необходимо доказывать, что сам Толстой был величайшим обличителем преступлений властей. Это признано всеми, одними с удовлетворением, другими — без оного. Но важно подчеркнуть, что обличения Толстого были не только выражением его темперамента и чувства справедливости, и что он воскликнул „Не могу молчать!” не потому, что просто не мог сдержать своего негодования, а

* Выделено И. А. Ильиным.

потому, что это *вытекало из его религиозных убеждений, из его учения об активном неучастии*. Этой связи между учением Толстого и его поведением не уловил не самый глупый марксист Плеханов. Разобрав учение Толстого о непротивлении злу насилием, он задает вопрос: „Какой же смысл имеет знаменитое толстовское „Не могу молчать!“? Какой смысл имеет та его проповедь против смертной казни, которая привлекла к нему горячие симпатии во всех странах цивилизованного мира? Только тот, — отвечает Плеханов, — что Толстой не всегда оставался толстовцем”.

Борьба Толстого с властью при помощи обличений — часть его учения. Без этой борьбы нельзя правильно понять учение Толстого о непротивлении злу насилием и о неучастии.

Солженицын, в этом смысле, очень точно следует толстовскому учению. Он не только призвал к неучастию своей статьей „Жить не по лжи”, но и дал образец *активного неучастия*. Великолепным поступком в этом отношении был тот ответ, который дал Солженицын на вызов его в прокуратуру: „В обстановке непроходимого всеобщего беззакония, многолетне царящего в нашей стране (а лично ко мне — и восьмилетней кампании клеветы и преследований), я отказываюсь признать законность вашего вызова и не явлюсь на допрос ни в какое государственное учреждение. Прежде чем спрашивать закон с граждан, научитесь выполнять его сами. Освободите невинных из заключения. Накажите виновников массовых истреблений и ложных доносков. Накажите администраторов и спецотряды, производившие геноцид (высылку *народов*). Лишите *сегодня* местных и отраслевых сатрапов их беспредельной власти над гражданами, помыкания судами и психиатрами. Удовлетворите *миллионы* законных,

но подавленных жалоб". И пусть не смущает выраженное здесь требование наказаний. В контексте солженицынских работ это не означает призыва к мести. Это призыв к возбуждению совести у преступников и их соучастников. В „Архипелаге" Солженицын предлагает карать виновников политических преступлений не тюрьмой и смертью, а показом того, что они сделали. Он с удовлетворением рассказывает о суде над нацистскими преступниками в Германии, на котором им были показаны фильмы об их зверствах, устранившие их больше, чем сам приговор суда: „Вот высшее достижение суда: когда порок настолько осужден, что от него отшатывается и преступник. Страна, которая 86 тысяч раз с помоста суда осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодежи) — год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него".

Обличение — вот орудие борьбы, которым располагает „непротивленец": „Единственное средство уничтожения правительства не есть насилие, а обличение", — писал Толстой. Обличать — значит говорить правду, а это тоже форма борьбы, борьбы открытой и беспощадной: „Только бы люди говорили то, что они думают, — писал Толстой, как бы предвосхищая или, лучше сказать, приготовляя призыв Солженицына „жить не по лжи", — и не говорили того, чего они не думают, и тотчас бы отпали все суеверия, вытекающие из патриотизма, и все злые чувства и насилия, основанные на нем".

Таким образом, Толстой возлагал все свои надежды на активное неучастие. Эта теория борьбы имеет сейчас в СССР очень большое число сторонников, многие из которых, может быть, и не знакомы с учением Толстого. Идея насильственного свержения установившегося в России тоталитарного

стройка не встречают сочувствия у мыслящей части советского общества, у тех, кто понимает преступность этого строя. Исторический опыт наконец-то убедил русских людей, что всякие насильственные методы, против которых предупреждал Толстой, ни к каким положительным результатам привести не могут. Да, насилие ускоряет ликвидацию несправедливого, жестокого государства, но ускоряет и создание еще более несправедливого, еще более жестокого строя.

Активное неучастие должно, по мысли Толстого, привести к созданию религиозного общественного мнения, которое помешает людям участвовать в безбожных делах кого бы то ни было. Толстой считал, что вообще людей от преступлений удерживает не страх суда и наказаний, а общественное мнение. Если общественное мнение, запрещающее преступления против заповедей Христа, не охватило человеческую массу, они, эти преступления, будут совершаться и впредь, несмотря ни на какие угрозы. Толстой мечтал о таком времени, когда люди не смогут совершать преступлений не потому, что уголовные кодексы им это запрещают, а потому, что общественное мнение помешает совершаться злым делам, как сейчас не убивают стариков из-за их бесполезности не в согласии лишь с уголовным кодексом, а потому, что представления, господствующие в обществе, исключают такую возможность: „Для того, чтобы совершились самые великие и важные изменения в жизни человечества, не нужны никакие подвиги, а нужно только изменение общественного мнения”.

Не случайно тоталитарные правители боятся больше всего тех, кто распространяет мнения, противоположные угодным правительству. Ни один саботажник-рабочий, ни один крестьянин-колхозник, не

вырабатывающий положенного числа трудодней и тем самым подрывающий „социалистическое хозяйство”, не наказывается так зверски, как инакомыслящие. Послесталинские правители уже совсем вроде бы не сажают рабочих и крестьян, нарушающих экономические планы властей. Но за распространение неугодных правительству взглядов арестовывают и будут всегда арестовывать, пока существует тоталитаризм. То же и в отношении внешнеполитических акций: советское правительство скорее согласится на сокращение вооружений, на участие капиталистов в экономической деятельности внутри СССР, чем на „мирное сосуществование идеологий”, попросту говоря, на проникновение в СССР иных общественных идей. Советские власти прекрасно понимают, что нет для них страшнее вещи, чем новая вера, так что тут можно говорить о „совпадении” их точки зрения с толстовской. Потому-то они так заботливо относятся к своим, преданным им писателям и идеологам. Как будто к сегодняшним членам ССП обращался Толстой в письме к Градовскому 6 апреля 1910 года: „Я полагаю, что в наше время всякому уважающему себя человеку, а тем более писателю, нельзя вступать в какие-либо добровольные соглашения с правительством, и тем более несовместимо с достоинством человека руководствоваться в своей деятельности предписаниями этих людей”. Ни одного дня не просуществовал бы сегодняшний режим в СССР, если бы писатели и философы последовали этому совету Толстого. Но они не послушали воззвания и своего современника: „Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литерату-

ры, а всего лишь — косметики”, — писал Солженицын, призывая сделать литературу органом независимого от правительства общественного мнения. И органом таким стала теперь та часть русской литературы, которая выходит под грифом Самиздата или же проникает с помощью эзоповского языка в государственные издания. Именно свободная литература, а не заговоры, делает свое дело.

Чуть ли не все критики толстовского учения упрекали Толстого в проповеди пассивности (может быть, только генерал Драгомиров в своих статьях о „Войне и мире” почувствовал, сколько истинной активности скрывается в мнимой „пассивности” Толстого).

Советские критики и толстоведы, развивая взгляды Ленина, Плеханова и Луначарского на толстовство, всегда твердили и твердят, что Толстой своим учением содействовал укреплению несправедливого мира, мира насилия. Толстой „звал в мертвую страну квиетизма”, — утверждал Плеханов. Этот же Плеханов заявил не более и не менее, что Толстой, „сам того не желая, переходил на сторону угнетателей народа”. Самый талантливый из марксистов, Горький, не хотел понять толстовского учения о непротавлении злу насилием и писал: „Есть что-то подавляюще уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешке в этой проповеди терпения и непротавления злу. Ведь два мировых гения (Толстой и Достоевский) жили в стране, где насилие над людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладострастным цинизмом. Произвол власти, опьяненной безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги власти, от губернатора до урядника, нагло грабили и истязали миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пойманной мышью.

И этим замученным людям говорили: не противьтесь злу! Терпите!”

Нет, не этому учил Толстой! Он учил сопротивляться злу: злу государственному — неучастием в нем и обличением его, злу революционному — неучастием в нем, терпением. А вот Алексей Максимович Горький учил не терпеть, а бороться с помощью насилия. Но когда те, кто не терпел, убивая и разрушая, пришли к власти, Горький что-то забыл о своих призывах и для удобства своей души просто перестал замечать новых, еще более страшных „губернаторов и урядников”. Ибо заметив их, должен был бы тоже возмутиться: „Не могу молчать!” (сделал это он лишь однажды — в своих „Несвоевременных мыслях”, этом последнем всплеске своей тревожной совести). Но в сталинскую эпоху голос Горького стал рупором палачей: „Если враг не сдается, его уничтожают!” или „Рабоче-крестьянская власть бьет своих врагов как вошь”, или еще того лучше: „Я считаю... казнь вполне законной”. Вот к чему стал звать сторонник насильственной борьбы со злом, когда уж поистине „произвол власти, опьяненной безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком”. И никакому классовому гуманисту, в том числе и Горькому, не удавалось и не удастся уйти от законов этой логики: призывающий к зверству во имя спасения жертв зверства становится пособником зверей.

Все учения о великой Цели человеческого общества — атеистичны, ибо предполагают знание человеком того, что может знать только Бог, а потому подменяют Великого Архитектора бытия — Бога — ничтожными строителями-борцами за свободу человека, всеми этими лениными, сталиными, гитлерами, маоцзедунами.

Толстой еще в „Войне и мире” высказал убежде-

ние о непознаваемости цели движения человечества: „Фатализм в изучении истории неизбежен”, — написано в романе. Ан, нет, заявили материалисты: мы знаем законы истории, пора уже на основании этого знания историю менять по нашему усмотрению (Маркс: „Прежде философы познавали мир, задача же — изменить его”). Как марксисты изменяют мир, насколько осуществляются их прогнозы и обещания, теперь известно...

Учение Толстого об активном неучастии основано на его утверждении, что нет цели человеческой жизни, а есть ее смысл. Само же историческое развитие человечества есть некий результат нравственного поведения людей, сумма человеческих деяний, определяемых пониманием людьми смысла жизни. Убийства, всякие иные насилия, в сущности, никогда не были целью деятельности даже самых жестоких правителей — возможность зверств возникала всегда в результате того, что люди неверно понимали смысл своей жизни и позволяли тиранам вести их к некоей цели, отказываясь при этом от предписанного религиозной моралью понятия смысла жизни. Неизвестная цель обнаруживается тогда, когда она уже осуществлена, как результат наших поступков; предсказать же заранее, куда приведут наши поступки, мы не можем. „Условия нового строя жизни не могут быть известны нам, — писал Толстой, — потому что они должны быть выработаны нами же. Только в том и жизнь, чтобы познавать неизвестное и сообразовать с этим новым знанием нашу деятельность. В том и жизнь каждого отдельного человека, и в том жизнь человеческих обществ и человечества”. Мы знаем только то, что есть и было (да и то весьма неполно), но не можем знать, что будет. Толстой отклонял всякие предположения, что его учение о неучастии может способствовать

увеличению преступлений. Он писал: „Что бы было, если бы не употреблялись насилия против враждебных народов и преступных элементов общества, мы не знаем. Но что теперь употребление насилия не покоряет ни тех, ни других, это мы знаем по положительному опыту”.

Толстой неоднократно повторял, что все попытки изменить положение вещей основаны на легкомысленной уверенности людей в их возможности и праве предсказывать пути развития общества. Конструирование будущего всегда ведет к насилиям, ибо каждый человек, особенно если он решит участвовать в политической жизни, уверен, что только он знает, куда вести людей. Народник Крыльцов в романе Толстого „Воскресение” говорит народо-вольцу Новодворову: „Но почему ты уверен, что путь, который ты указываешь, истинный? Разве это не деспотизм, из которого вытекали инквизиции и казни большой революции? Они тоже знали по науке единый истинный путь”.

Ничего, кроме крови и страданий, не приносили людям авторы всяческих проектов преобразований общественной жизни, когда они переходили к осуществлению своих проектов. И не приносят. Именно здесь Толстой видит рубеж, отделяющий верующего от атеиста: верующий знает, что ему не дано менять мир, а дано менять свою душу, атеист же, подменяя Бога, своей куцей, самоуверенной силой стремится преобразовать мир. В письме к редактору одной газеты Толстой в 1894 году писал: „Вопрос для христианина не в том... имеет ли человек право разрушить существующий порядок и заменить его новым — христианин и не думает об общем порядке, предоставляя ведение этого порядка Богу”, а потому христианин не думает, что будет из его поведения. Он просто каждую секунду живет

в соответствии с заповедями Христа. „А что из этого выйдет, какое будет от моего такого или иного поступка государство, этого я никогда не знаю и не то, что не хочу, но не могу знать”. Учение Толстого о неучастии представляется одной из лучших альтернатив всяким революционным учениям, построенным на убеждении революционных вождей, что они могут кроить мир Божий по своему усмотрению, ибо-де в точности знают все законы исторического развития и знают Цель, по пути к которой надо лишь подгонять тупых людей. В письме к Кросби (1876) Толстой говорит: „Все ужасы революции и государственного насилия происходили и происходят только потому, что люди предполагают, что они знают, что нужно людям и миру”. Выход Толстой видел в полном отказе человека от Цели преобразования мира: „’Делай, что должно, и пусть будет что будет’ — есть выражение глубокой мудрости”, — говорит Толстой в этом же письме.

Толстой видел спасение людей в том, чтобы каждый человек всякий свой поступок всегда соотносил не с целью жизни, которая ему неизвестна и не может быть известна, а с ее религиозным смыслом.

В том же письме к Кросби Толстой писал: „Христианское учение — о том, что должен делать человек для исполнения воли Того, Кто послал его в жизнь. Рассуждение же о том, какими мы предполагаем последствия от тех или других поступков людей, не только не имеет ничего общего с христианством, но есть то самое заблуждение, которое разрушается христианством”.

Из этого представления о цели и смысле жизни, а также из учения о непротивлении злу насильем и вытекает отношение Толстого к револю-

ции как способу преобразования жизни и к революционерам, чья вера заключается в убеждении о необходимости преобразования жизни во имя великой Цели.

Об одном киноэпизоде в жизни В. В. Шульгина

Интересная и в целом весьма справедливая статья Е. Брейтбарт о последней книге Шульгина („Г р а н и” № 119 за 1981 год) вызывает все же желание уточнить некоторые моменты биографии этого необычного человека.

Когда после 12 лет заключения Шульгин вышел из Владимирской тюрьмы и поселился в том же Владимире, хрущевский режим решил использовать его в своих пропагандных целях. Отчасти большевикам это удалось: появились письма русским эмигрантам, письмо Аденауэру и прочее.

Немного позднее, в начале 60-х годов, Шульгиным заинтересовалось и КГБ. Тогда-то около него и появился „некто В. Владимиров, журналист”, — как с недоумением — впрочем, вполне оправданным — пишет Е. Брейтбарт. Стоит рассказать немного об этом человеке.

Публикуя статью В. Головского, приоткрывающую занавес над кухней, где препарировались такие блюда, как книга В. Шульгина „Годы”, кинофильм „Перед судом истории” и др., а также раскрывающую псевдоним редактора-соавтора В. Шульгина — Владимира Владимирова, редакция напоминает, что, как писала в своей статье Е. Брейтбарт („Г р а н и” № 119), объяснение уступок В. В. Шульгина ждет еще своего социально-психологического анализа. Напомним также, что Е. Брейтбарт не без оснований назвала „душевной ахинеей” то, что порой режиссер Эрмлер навязал „дедуле” Шульгину, что, впрочем, соответствует абсурдности тезисов Шульгина в этом фильме, в частности, о том, „... что у нас не было идей, не было программы”. — Р е д.

Под псевдонимом В. Владимиров скрывался довольно известный кинорежиссер Владимир Петрович Вайншток. Он родился в 1908 году, и с 16 лет начал работу в кино, пройдя путь от ассистента режиссера до полноправного постановщика популярных в 30-е годы картин „Дети капитана Гранта” (1936) и „Остров сокровищ” (1937). В 1939 году Вайншток закончил еще одну картину — „Юность командармов”, ее можно отнести к тем „шапкозакладательским” фильмам, которых немало было создано в предвоенные годы в СССР и которые призваны были, вопреки фактам, продемонстрировать военную мощь Красной армии. После этой картины, получившей высокую оценку военных, жизнь Вайнштока резко меняется: он становится директором киностудии „Мосфильм”, а затем, в годы войны, одним из руководителей так называемой ЦОКС — Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате. „Административная деятельность, — пишет биограф Вайнштока, — не увлекает его, и он уходит из кино. Кино потеряло талантливого режиссера, а на страницах журналов появился новый талантливый автор — В. Владимиров”¹.

Однако журналистская деятельность была лишь прикрытием той реальной работы в НКВД, которой занялся недавний режиссер...

Период 40-х—50-х годов покрыт, как говорится, мраком неизвестности. Но в конце 50-х он снова начал появляться на поверхности. Я познакомился с Вайнштоком году в 1960 или 61-м в доме известного писателя и чекиста Георгия Брянцева². Вайн-

¹ Сб. „Двадцать режиссерских биографий”. М., „Искусство”, 1971, с. 40.

² О Брянцеве пишет Юрий К р о т к о в в его работе „КГБ в действии”. См. „Новый журнал” № 111 за 1973 г., с. 122.

шток в это время был не только ближайшим другом Брянцева, но и возглавлял Правление первого писательского кооперативного дома на Аэропортовской (ныне ул. Черняховского, 2). Из тех же воспоминаний Юрия Кроткова, также кооптированного сотрудника МГБ, мы узнаем, что председателем такого рода кооперативов мог быть только человек, активно сотрудничающий с органами госбезопасности.

В дальнейшем эти контакты помогли Вайнштоку-Владимирову получить доступ к закрытым материалам и написать ряд интересных сценариев. Напомню только фильм „Мертвый сезон” (режиссер Савва Кулиш), в котором впервые появился на экране советский шпион Абель!

Вот этот, совсем небесталанный человек и был выдвинут для сотрудничества с Шульгиным — как автор сценария фильма о нем. Режиссером был выбран также бывший чекист Фридрих Эрмлер. Эрмлер всю жизнь честно служил партии, но после разоблачений Хрущева его вера в идеалы молодости, кажется, пошатнулась. „Может быть, ни один вид искусства, — писал Эрмлер в 1962 году, — не пострадал от культа Сталина так, как пострадал кинематограф. Один человек определял и судьбы всех произведений, и судьбы их авторов. Он решал, запрещал, планировал, исправлял, дописывал. Можно с уверенностью сказать, что киноискусство потеряло немало молодых талантливых режиссеров потому, что право ставить фильмы было предоставлено маленькой группе „избранных”. Внедрялась нелепая теория „лучше меньше, да лучше!” Художник боялся не понравиться одному человеку. И постепенно он терял веру в то, что способен понимать, что народу нужно. Только бы понравиться ему!”³

³ Журн. „Искусство кино”, № 6 за 1962 г., сс. 1—2.

Не следует, однако, забывать, что Эрмлер был всегда в числе тех „немногих”, на которых ласки первого ценителя киноискусства распространялись всегда. И, получив задание сделать фильм с Шульгиным, он загорелся. Задачу фильма сформулировал сам Эрмлер в письме художественному совету студии „Ленфильм”: „Вся ценность этого произведения, если оно удастся, заключается в том, что не мы, советские люди, который раз расскажем о первых годах революции, о гражданской войне, о пролитой крови наших людей, а расскажут те, кто повел русского человека на русского человека, кто в сговоре с Антантой сеял смерть и разруху”⁴.

Итак, Шульгин был нужен, чтобы его устами облачить царизм, Белые армии, русскую эмиграцию, Антанту... Именно поэтому было дано согласие (так мне рассказывал сам Вайншток) на документальный характер фильма, на участие самого Шульгина, как активного действующего лица. Так возник этот уникальный документ времени — фильм „Перед судом истории” (1967). Здесь я позволю себе не согласиться с уничижительной оценкой этой картины в статье Е. Брейтбарт и рассказать немного поподробнее об этой ленте, которая практически не увидела света, хотя формально и не была запрещена.

Для начала приведу еще несколько свидетельств Фридриха Эрмлера. „Первая наша встреча с Шульгиным, — вспоминал режиссер в статье, написанной в 1965 году, — состоялась в 62 году, а работа была завершена в январе 1965⁵. Около года ушло на пе-

⁴ Фридрих Эрмлер. Документы. Статьи. Воспоминания. Л., „Искусство”, 1967, с. 180.

⁵ Фактически фильм был окончательно готов лишь в 1967 году.

реговоры с Шульгиным (их вел автор сценария В. П. Вайншток⁶). Шульгину шел тогда 87 год. Память у него была изумительная. Шульгин, по его собственному мнению, принадлежал к категории „зубров“, он непреклонен в своих суждениях. Переспорить его — дело наитруднейшее, в то же время нельзя оставить без должного ответа его философские и политические суждения, а они нередко не только неприемлемы, но и недопустимы”⁷.

Сама идея фильма и особенно его документальный характер вызывали с самого начала серьезное беспокойство кинематографического начальства. Тогдашний председатель Госкино Алексей Романов, профессиональный борец с идеологическими ошибками, спрашивал Эрмлера: „Что он (Шульгин) даст нашему кино? Что принесет советскому народу?” На что режиссер отвечал ему: „Я старый коммунист. Все мои фильмы политические. И этот фильм — политическая акция, которую я хочу осуществить средствами искусства моего... Я хочу, чтобы он сказал всем: 'Я проиграл' ”.

Таковы были цели и задачи съемочной группы Эрмлера, которых им не удалось выполнить. Хотя Эрмлер и отдавал себе отчет, что они с Шульгиным так и остались по разные стороны баррикады, что Шульгин так и остался верен „белой” идее, идее монархизма, он тем не менее, прямо-таки влюбился в своего героя. 68-летний режиссер называл 86-летнего Шульгина „дедулей”. Они беседовали часами — о жизни, об истории, о кино... Шульгин не шел ни на какие уступки, он просил, чтобы ему громко произносили текст сценария (после тюрьмы его слух немного ослабел), и требовал убрать все, что он не

⁶ Здесь Эрмлер невольно раскрыл псевдоним Владимира.

⁷ Сб. Фридрих Эрмлер, цит. изд., с. 182.

мог, не хотел произносить. Он, в сущности, хотел, чтобы текст почти полностью совпадал с книгой „Дни”. Но когда начались съемки, Эрмлеру пришлось сражаться на два фронта: улаживать Шульгина и доказывать свою правоту редакторам киностудии и Комитета по кино. Каждый отснятый кусок неоднократно просматривался придирчивым начальством, отзывы были уничтожительные. Эрмлер дважды за время съемок ложился в больницу с сердечными приступами, а „дедуля” стоял на своем...

Главной проблемой фильма была проблема достойного противника Шульгину. Но именно такого человека не находилось. Поначалу сам Эрмлер думал вести политический спор с бывшим депутатом Государственной Думы. Но болезнь помешала ему. Так, во всяком случае, аргументировал сам режиссер, но я думаю, что он просто побаивался старика. Эрмлер мечтал о несгибаемом ленинце типа Кржижановского, но в начале 60-х таких уже не осталось: кто умер, а большинство погибло в концлагерях и лубянских застенках. Немногие из оставшихся (например, В. Петров, Г. Петровский) не хотели впутываться в такое подозрительное предприятие. Кончилось все в лучших советских традициях: нашли актера, который должен был играть роль Историка, произнося заготовленный Владимировым текст. Не сломив Шульгина, авторы решили всячески „усиливать” текст Историка. Так документальное, подлинное начало в лице Шульгина пришло в столкновение с „художественным”, игровым, в высшей мере фальшивым (Историк).

Историк, по фильму, возил Шульгина в разные места в Ленинграде (Таврический, кинозал, вагон, где подписал отречение Государь), во Дворец съездов в Москве. Содержание картины сводилось к беседам Шульгина с Историком, носившим, подчас,

весьма острый характер. Однако, когда фильм был закончен, кинематографическое начальство отказалось его принять: для них это была чистая контрреволюция! Почти два года шла доработка, в которой Шульгин отказался принимать участие. Привлеченный в качестве соавтора советник Романова Михаил Блейман смог только снабдить картину многочисленными надписями, долженствовавшими сгладить святотатственные высказывания автора „Трех столп“! Наконец, в 1967 году картина была принята, и... нет, ее не запретили, а просто не стали показывать зрителям. Тогда уже власти начали использовать более „тонкие“ методы борьбы с неудобными произведениями кино: каждый официальный запрет вызывал скандалы, толки, статьи в западной прессе. Гораздо спокойнее дать фильму официальное цензорское разрешение, заплатить авторам, а потом... кто может проверить, сколько зрителей увидели тот или иной фильм!

К тому времени, как фильм „Перед судом истории“ осел в хранилищах кинофикации, Эрмлер был уже в больнице, где он и находился до самой смерти (он умер в 1969 г., в возрасте 71 года). Но не только сердце мучило старого режиссера: душевные мучения были не менее страшными. По свидетельству людей, хорошо знавших Эрмлера, он прекрасно понимал свое поражение, восхищался мужеством, достоинством Шульгина. „Это моя лучшая картина“, — сказал он незадолго до смерти. Тем не менее — такова уж советская действительность — официально Эрмлер продолжал утверждать, что в фильме „торжествует правота ленинских идей. Иначе и быть не могло. Не было бы фильма, если бы правда, наша правда, не победила“. А в приветствии по поводу какой-то годовщины ЧК он сообщил, что поставил на колени заклятого врага советской власти.

Увы, для самого Эрмлера, для душевного спокойствия его, это было слабым утешением...

Я смотрел этот уникальный фильм несколько раз. Последний в самом конце 1981 года, когда я взял его из московского кинопроката (где лента десятилетиями пылилась в неизвестности), чтобы показать членам киноклуба МГУ на улице Герцена. В зале было человек триста, в основном молодежь, конечно, но и некоторое число пожилых пришло, видимо, привлеченное именем Шульгина на афише. Молодые же просто никогда не слышали этого имени. Поначалу я рассказал биографию Шульгина, прочитал выдержки из его „Дней”; потом познакомил слушателей с историей создания картины. И вот начался просмотр...

Мы видим Шульгина и Историка на улицах Ленинграда. Василий Витальевич спокойно смотрит на этот город, который он не видел многие десятилетия, он только спрашивает, почему так много молодых людей на улицах. Историк отвечает, что это выпускники школ празднуют получение дипломов. Волнение отражается на лице Шульгина только в тот момент, когда он входит в пустынные залы Таврического Дворца. Здесь он провел немало лет, как депутат II, III и IV Государственной Думы. Старик не спеша, торжественно подходит к своему креслу, удобно устраивается в нем. Он необыкновенно живописен: окладистая белоснежная борода, старенький, но аккуратный, ловко сидящий черный костюм, тяжелая палка, на которую опирается его почти не сгорбленное тело, небольшие, глубоко запрятанные, умные глаза лишь слегка подернуты патиной десятилетий. И только характерный стариковский жест — ладонь, приставленная к уху, — напоминает нам о подлинном возрасте этого человека.

Шульгин на экране, конечно же, не играет: он сосредоточен, он думает, вспоминает и все, что говорит он, значительно, подлинно, честно. Он вспоминает о жарких сражениях в Думе в 14-м году, и позднее, в 17-м. Из Таврического Шульгин и Историк едут к вагону, где произошло отречение Николая II. Это, пожалуй, самая значительная сцена фильма. Шульгин входит в вагон, где все сохранено так, как было в 17-м году (конечно, это декорация). Он показывает нам, где сидел он, Шульгин, где Гучков, где Фредерикс... Он садится в кресло и продолжает свой рассказ, который почти точно совпадает с описанием этого эпизода в книге „Дни”. Но зрители видят его лицо, его глаза, полные слез, точно событие это произошло не 45 лет назад, а вчера! „Этот несчастный государь, — говорит Шульгин, — был рожден на ступенях трона, но не для трона”. Он говорит, что царская власть была обречена, но он любил царя, жалел его, считал его жертвой окружения. „К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше, любит Россию...”⁸

Эта сцена, как говорят в театре, была полностью за Шульгиным, Историк даже не появлялся в кадре. Но он решил взять реванш в дальнейшем, когда речь зашла о гражданской войне. Обильно цитируя исторические труды, он гневно обвинял „белых” в морях пролитой крови. Он пытался перечислить все зверства „белых” генералов... Шульгин слушал спо-

⁸ Цит. по книге: В. Шульгин. Дни. Ленинград, „Прибой”, 1926, с. 166.

койно, сосредоточенно, прикрыв глаза. „Да, — промолвил он после долгой паузы, — вы правы, всех не перечислишь, и потому я не буду перечислять всех „красных” командиров и не буду измерять количества крови, ими пролитой”⁹.

Шульгин вспоминает обоюдную озлобленность, корит себя за свои тогдашние проклятья по адресу Ленина. Пожалуй, это единственная уступка, которой удалось добиться создателям фильма. Но сразу же Василий Витальевич добавляет: „Я всегда отделял Россию, русский народ от коммунистов и советской власти”.

„Почему не удалось дело русской эмиграции? — вслух размышляет Шульгин на экране. — Почему? Первая причина была в том, что нам не удалось поставить общий интерес выше нашей обыденщины. Вторая причина в том, что мы не смогли найти общепризнанного вождя. И третья, самая главная, заключается в том, что у нас не было идеи, не было программы, которая могла бы стать целью жизни”.

В следующей сцене авторы решили сыграть ва-банк, выдвинуть „железный”, неотразимый аргумент. Шульгин и Историк устраиваются в креслах в просмотровом зале, опускаются шторы, гаснет свет и — впервые в советском кино — идут кадры из архива КГБ, кадры суда над генералом Власовым, немецкая хроника приведения генерала к присяге... Когда хроника кончается, Историк, торжествуя, предъявляет Шульгину „счет”: вот где оказались ваши „белые” сора́тники! Вот куда привела их „белая” идея!

Старик сидит неподвижно, пауза на экране длится

⁹ Здесь и в других местах слова Шульгина цитирую по монтажному листу фильма „Перед судом истории” (студия „Ленфильм”, 1967 год).

долго, невыносимо долго. Тем более сильно, прочувствованно звучат его слова: „Нет, друг мой, вы неправы. Не вся белая эмиграция пошла служить Гитлеру, а только часть ее, небольшая часть. А сколько эмигрантов боролось с Гитлером и погибло в этой борьбе, в борьбе за Россию”.

И еще одна сцена осталась в памяти. В 1961 году Хрущев пригласил Шульгина в качестве гостя на XXI съезд партии. Работая над картиной, Эрмлер и Владимиров решили снова привезти Шульгина во Дворец съездов, инсценировать его встречу со старым большевиком Петровым. Два старца сидят в креслах, и Петров спрашивает Шульгина: „Вы Шульгин?” — „Да, я Шульгин”. — „А вы меня не помните?” — „Нет, не помню”. — „А я вас помню. Я приходил с демонстрантами к редакции газеты „Киевлянин” и там вас видел”. — „Да, да”, — вспоминает прошлое Шульгин. „А потом, — продолжает Петров, — я воевал с белыми и у меня в спине до сих пор сидит пуля. Может быть, это вы в меня стреляли!” — „Да что вы говорите, — по-молодому заливается вдруг смехом Шульгин. — Очень может быть! Очень возможно”.

Вот и все, что удалось авторам картины „выжать” из этой сцены, которая должна была продемонстрировать и мощь сегодняшнего Советского Союза, и крах идей его противников — прошлых и современных!..

Фильм оказался подлинным откровением для молодых людей, собравшихся в зале. Это было не только открытие неведомого им куска истории России, это было знакомство с Человеком. Шульгин просто покорила аудиторию, покорила прежде всего искренностью, глубиной мыслей, мужеством, с которым он умел признавать ошибки прошлых лет, и конечно же, глубокой идейностью, преданностью

идеалам. Все эти ценности давно уже стали самым большим дефицитом в Советском Союзе. До полуночи продолжался разговор со студентами. Я снова и снова читал „Дни”, рассказывал подробности работы над фильмом, старался отвечать на сотни вопросов, подчас, весьма острых. И пожалуй, никогда еще не получал я столько искренних слов благодарности, как в этот вечер. Можно сказать, что это был вечер памяти Василия Витальевича Шульгина.

Можно также сказать, что операция КГБ провалилась: Шульгина не удалось поставить на колени, заставить раскаяться на глазах всего мира. И — как следствие — фильм „Перед судом истории” стал невидимкой. И все же он вошел в историю кино, как фильм, сказавший правду о человеке, об эпохе.

Чекист обвиняет Сталина

Автор книги „Тайная история сталинских преступлений” Александр Орлов (настоящая фамилия Лев Фельдбин) умер в Америке 10 лет назад, но его книга, вышедшая по-английски в 1953 году, на русском языке появилась в издательстве „Время и мы” только в начале 1983 года. Автор книги как бы изнутри освещает ход событий 1936—38 гг., злой гений Сталина и гибель и самоубийства попавших в немилость заслуженных чекистов.

Книга Орлова — книга большевика, оставшегося таковым до конца своей жизни.

Правда, это большевик — антисталинец и поэтому по адресу Сталина он высказывает много негодующих и презрительных слов, ибо, по мнению автора, именно Сталин растоптал светлые идеалы коммунизма. Для автора же эти идеалы остались святыми. Орлов до конца, до смерти остается сторонником „Октября”.

Орлов — чекист.

„До 12-го июля 1938 года я был членом российской коммунистической партии и мне были доверены советским правительством многие ответственные посты... Я принимал участие в гражданской войне в России и служил в Красной армии на Юго-Западном фронте, где командовал партизанским отрядом в тылу врага, неся службу контрразведки. Когда гражданская война кончилась, я был послан Центральным Комитетом Партии в Верховный суд в

Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. Изд-во „Время и мы”, 1983.

качестве товарища прокурора. Здесь я также принимал участие в составлении первого советского уголовного кодекса. В 1924 году я был назначен заместителем начальника Экономического Управления при ОГПУ (позже переименованного в НКВД), где я нес службу в Госконтроле по реконструкции советской индустрии и борьбе с вредительством. Позже я был командиром Закавказских пограничных войск, которые охраняли границы с Турцией и Персией. В 1926 году был назначен на должность Начальника Экономического Отдела иностранных дел при НКВД и нес службу в Госконтроле по иностранным делам Советского Союза. /.../

В 1936 году, когда разразилась гражданская война в Испании, я был послан туда Политбюро, как советник при испанском революционном правительстве. Я прибыл в Испанию в октябре 1936 года и служил здесь до 12 июля 1938 года, когда я порвал со сталинским правительством” (с. 9—10 предисловия).

Таким образом, вся карьера Орлова проходила в карательных органах, в области „борьбы с вредительством”, шпионажа и провокаций. В этом амплуа Орлов не видит ничего антинародного, а скорее наоборот, он рассматривает свою деятельность как „службу народу”. И если бы не злой гений Сталина, который один омрачает светлую картину строящегося в России социализма, то Орлову не нужно было бы рвать с режимом и партией, и он продолжал бы свою службу в многоименной Чека без малейшего внутреннего конфликта.

В книге 320 страниц текста, не считая предисловия, в котором автор знакомит читателя со своей особой, и послесловия, где редактор Иосиф Косинский кратко излагает содержание книги и рассказывает о дальнейшей судьбе Орлова.

Из 320 страниц — преступлениям против крестьян отведено три страницы. Преступлениям против армии — 12 страниц. Преступлениям против детей (закон о смертной казни для детей) — три страницы. Преступлениям против детей чекистов и большевиков — тоже три страницы.

О судьбе и характеристике Максима Горького — 16 страниц. Сталинским слабостям и забавам — три страницы. Характеристике и роли Вышинского в процессах — 13 страниц. Всего, не относящегося прямо к „преступлениям” Сталина, — 53 страницы.

Остальные 267 страниц отведены „преступлениям” Сталина. Рассказывается обо всех известных процессах старых большевиков и об убийстве Кирова. Симпатии автора целиком на стороне старых большевиков и дела, которому они служили. Вот как освещает автор дело Юрия Пятакова:

„Со времени написания ленинского „завещания” до того часа, когда Пятаков появился в качестве подсудимого на втором московском процессе, прошло тринадцать лет. За эти годы он сделался государственным деятелем самого высокого ранга. Достаточно сказать, что именно ему страна в первую очередь была обязана успешным выполнением первой и второй пятилеток. Он был выдающимся организатором производства”.

К сожалению, Орлов, свидетель компетентный и достоверный, не нашел нужным рассказать, как проводились индустриальные пятилетки, для характеристики которых он находит такое невинное выражение, как „служба народу”. Во что обошлось народу такое грандиозно-погромное и дико-бесмысленное предприятие, как коллективизация? Чего стоила русской молодежи постройка Комсомольска-на-Амуре? Чего стоила народу „железнодорожная реформа” Кагановича, или как люди и скот

гибли миллионами во время первой пятилетки? С точки зрения не чекиста, а рядового русского человека, Пятаков и Сталин делали общее дело, и дело это было черным преступлением перед Россией. И поэтому совершенно естественно, что когда Пятаков и прочие непревзойденные „слуги народа” были не за свои действительные, а за мнимые преступления расстреляны, то ни из чьей груди не вырвалось вздоха сожаления. О палачах не плачут. И если над трупом Пятакова были действительно пролиты чьи-либо слезы, то слезы эти были чекистские.

Сталинский режим оказался не слишком уютным для чекистов. За это, и только за это осуждает его Орлов, а не за злодеяния, учиненные над народом совместно Сталиным и его расстрелянными и нерасстрелянными чекистами.

Орлов доволен своей биографией. В книге нет ни одного намека на то, что он хотел бы что-то пересмотреть, переоценить. А ведь ответственные посты он занимал в ОГПУ—НКВД. И все эти посты не могли не быть связаны с чудовищными преступлениями против права и человечности. Чего стоит уже только звание „советника” при республиканской армии в Испании!

„... по прибытии в Канаду я написал большое письмо Сталину и копию его отправил Ежову. В нем я сказал Сталину, который лично знал меня еще с 1924 года, что я думаю о его режиме” (предисловие, с. 15).

Само письмо в книге Орлова не приведено. Жаль! Но можно с уверенностью сказать, что там сказано не то, что говорит о нем беглый чекист Орлов. Орлов отождествляет себя в книге со „всяким честным человеком”, с массой русского народа. На это он не имеет никакого права.

Через всю книгу красной нитью вырисовывается

облик Орлова как преданного делу большевика-чекиста: он не изжил в изгнании — ему и не приходит в голову мысль изживать — свою психологию чекиста. И несчастье в том, что и на Западе носятся с этой психологией. Ведь вот издали же эту книгу! Причем не как криминальный роман, а как „ценный” источник для ознакомления с тем, что происходит в России.

Орлов о себе: „Я записывал указания, устно даваемые Сталиным руководителям НКВД на кремлевских совещаниях; его указания следователям, как сломить сопротивление сподвижников Ленина и вырвать у них ложные признания; личные переговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, произнесенные этими обреченными в стенах Лубянки. Эти тщательно скрываемые секретные материалы я получал от самих следователей НКВД, многие из которых находились у меня в подчинении. Среди них был мой бывший заместитель Миронов (в дальнейшем — начальник Экономического управления НКВД, ставший одним из главных орудий Сталина при подготовке т. н. московских процессов) и Борис Берман, заместитель начальника Иностранного управления НКВД.

В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без надежных помощников из НКВД. По мере того как рос список его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опасаясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937 году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреляны без суда и следствия почти все руководители НКВД и все следователи, которые по его прямому указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской революции”.

Для Орлова „чудовищные преступления Сталина” начались лишь с того момента, когда Сталин перешел к ликвидации начальников НКВД и старой партийной верхушки. До того времени Орлов считал совершенно нормальным, что и вся „верхушка”, и он помогали Сталину в укреплении его режима.

Кроме непонимания того, чем на самом деле является он, Орлов, и ему подобные для русского народа, Орлов еще поражает своей безграмотностью во всем, что не касается его чекистской специальности. Чего, например, стоят хотя бы его рассуждения о казаках:

„... теперь Сталин воскресил казачьи войска со всеми их привилегиями, включая казачью военную форму царского времени. Тот факт, что эта акция совпала по времени с разгоном обществ старых большевиков и политкаторжан, как нельзя более ярко свидетельствовал о характере сталинских перемен.

На праздновании годовщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех приглашенных поразило присутствие неподалеку от Сталина, в третьей от него ложе, группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца, с золотыми и серебряными аксельбантами. В их честь московский танцевальный ансамбль исполнил казачью пляску. Сталин и Орджоникидзе весело аплодировали. Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешенных атаманов, чем на сцену. Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то каторгу, прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам: „Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их работа’ ” — и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой.

Сталину казаки были нужны, как и царю, для по-

давления вспышек недовольства: более надежных исполнителей по этой части найти было трудно” (с. 52).

Сведения, сообщаемые Орловым, совершенно фантастичны! Нужно совсем не знать России и ее истории, нужно быть очень некультурным человеком, нужно интересоваться только тем, что лежит в пределах краткого курса истории ВКП(б), чтобы написать приведенный выше безответственный вздор о казаках. Казачьи автономные (!?) части со специальными привилегиями и правами самоуправления существуют только в фантазии Орлова: это были обычные военные части, подчиняющиеся общему для всей армии полевому, строевому и дисциплинарному уставу.

Совершенно дикий вздор представляет собой утверждение Орлова, что „казаки по своей свирепости, дикости и реакционной манере жизни были так непохожи на русский народ, что они являются как бы другой, не русской расой”. Всякий, кто видел казаков и русских крестьян, знает, что первые не отличаются от вторых ничем, кроме, может быть, большей культурности и зажиточности.

Что касается утверждений Орлова: „Сталин восстановил автономные казачьи войска со всеми их старыми привилегиями”, то это не только продукт невежества, а и прямая ложь. Никакого выделения казачьей территории в особую административную единицу не произошло, и колхозы остались по-прежнему. Сталинское „восстановление казачества” чистая фикция. В организованных им конных частях большинство всадников даже не были казаками. Иначе и быть не могло: большая часть казачества была физически уничтожена еще во времена коллективизации.

Орлов настойчиво отгораживается от „сталин-

ской инквизиции”, противопоставляет „добрых большевиков” злым „сталинцам”. Но где бы автор ни был во время коллективизации, во время раскулачивания и истребления дикой и свирепой казачьей расы или во время железнодорожной „реформы”, стоит поставить эти вопросы, чтобы убедиться в том, что Орлов имеет очень мало права снимать с себя ответственность за то, что творилось в России до его командировки в Испанию.

Весьма показательна сцена, где таланты „настоящего” следователя проявляются во всей красе и со всей полнотой:

„... задетый за живое Молчанов спросил следователя Д., на что он намекает. „Да все очень просто, — ответил тот. — И нечего удивляться, что признания получены именно вашими следователями. Ведь общее руководство следствием находится в руках вашего управления, вот ваши сотрудники и выбирают себе арестованных, у кого есть дети... А нам достаются те, у кого детей нет. Кроме того, ваши сотрудники вначале пробуют расколоть арестованного. Если он сдается, они оставляют его себе, а если выкалывает упорство, передают нам”. Многие старые большевики, готовые умереть за свои идеалы, не могли переступить через трупы собственных детей — и уступали насилию”.

Понятия о праве как у „настоящего” следователя, так и у автора, ясны без комментариев. Первый огорчен, что не его отделу достаются обвиняемые „с детьми”, а второй огорчен междудементальной несправедливостью. Ни одному из них не приходит в голову, что самое их отношение к следственному делу — уже преступление, перед народом и перед правом.

Или: „Берман вовсе не был бездушным инквизитором. Годы службы в НКВД не притупили в нем

чувства справедливости и сострадания (!). Но, прикованный, как раб, к сталинской колеснице, он послушно исполнял приказы, идущие сверху”.

Нельзя показать яснее, что, служа коммунизму, человек не может не быть палачом, если этого требуют интересы партии. Нечего все сваливать на Сталина. Он был такой же раб коммунизма (только, может быть, более последовательный), как и все его подчиненные. Разница между ним и берманами, молчановыми и орловыми та, что они имели власть над нижестоящими, а он имел власть над ними. Но служение всякому тоталитарному строю — всегда рабство. И служат этому строю люди с рабской психологией. Люди с психологией свободных личностей или прозябают в виде „внутренней эмиграции” и по Соловкам, или заполняют могилы на Колыме.

Орлов горюет о ликвидации и самоубийствах чекистов. Он пишет: „В день, когда советские газеты объявили, что смертный приговор обвиняемым на втором московском процессе приведен в исполнение, один из следователей Секретного политического управления НКВД, принимавший участие в допросах, покончил с собой. Им было оставлено письмо, содержание которого скрыли от прочих сотрудников НКВД. Это породило слухи, что самоубийцу „замучила совесть”.

„Не прошло и двух месяцев, как застрелился начальник Горьковского управления НКВД Погребинский...”

„Погребинский не был инквизитором по призванию. Хотя ему и пришлось исполнять сомнительные „задания партии”, по природе это был мягкий и добродушный человек”.

„Самоубийство Погребинского не было единственным в своем роде. С начала тридцатых годов самоубийства среди сотрудников НКВД вообще

участились. Особенно среди сотрудников Секретного политического управления, которые отвечали за „успешное” проведение репрессий против членов оппозиции”.

В своей книге Орлов снова и снова пытается все злодеяния свалить на Сталина и незначительное число его доверенных. Он пишет:

„Отлично зная, что не кто иной, как сам Сталин, организовал судебные спектакли, верхушка НКВД должна была уяснить себе, что после уничтожения своих политических противников или соперников Сталин уничтожит также всех следователей НКВД, помогавших ему организовать московские процессы, да и вообще всех тех, кто знаком с кухней этих процессов. Но увы! Эти люди, подобно охотничьим собакам, были так заняты преследованием дичи, что не обращали внимание на самого охотника. Не будучи в состоянии распознать коварный сталинский план, они лишили себя возможности обратить огромную мощь своего аппарата на спасение собственных жизней”.

Дальше следует патетический рассказ о том, как Ежов предательски расправился с теми, кто — увы! — не использовал своей власти для самосохранения. Начались самоубийства среди работников НКВД. Некоторые стрелялись, а некоторые бросались из окон Лубянки. Орлов пишет:

„Здание НКВД расположено в сердце Москвы, и инциденты, когда служащие его прыгали из окон верхних этажей, происходили на глазах у многочисленных прохожих. Слухи о самоубийствах энкаведистов начали гулять по Москве. Никто из населения не понимал, что происходит. По делам арестованных сотрудников НКВД не велось никакого следствия, даже для видимос-

ти. Их целыми группами обвиняли в троцкизме и шпионаже и расстреливали без суда”.

Как выбрасывались из окон следователи НКВД, как кончали пулей в лоб, об этом Орлову знать лучше, чем кому бы то ни было другому. Но реакцию населения на самоубийства чекистов Орлов изображает неправильно. Никакой паники не было. Было злорадство: „гад гада пожирает” — таково было ощущение московского обывателя.

Дальше Орлов в своей книге проводит пикантную параллель между царской охранкой и НКВД... и в пользу охраны. Он благородно негодует на НКВД, что, не в пример охранке, которая „могла сослать самого преступника, но не имела права ни сослать, ни подвергнуть какому-либо наказанию членов его семьи, НКВД преследует и ссылает членов семьи, включая малолетних детей.

Сетования Орлова по поводу того, что дети старых большевиков оказались в том же положении, в каком были сотни тысяч беспризорников, не могут вызвать у читателя сочувствия „слугам народа”, а наоборот — отвращение и негодование. Вообще благородные чувства народа, которые Орлов приписывает чекистам, оказываются всегда очень относительными и условными. Если жестокость и безобразия сталинского режима не касаются непосредственно чекистов, они остаются типичными „слугами народа” вроде фанатика Пятакова; если же им начинают грозить сталинские ужасы — в их сердцах начинают бить родники чувствительности, нежности и благородства.

По книге Орлова, „сталинские преступления” начались только с московских процессов над старыми большевиками и, конечно, чекистами. Только после истребления „слуг народа” для Орлова и присных его революция кончилась, т. е. тогда,

когда кончилась их карьера. Орлов дает совершенно превратное представление о коммунистической революции и тем самым дезориентирует западное общественное мнение, т. к. он отождествляет чекистскую оппозицию, чекистские группы с народом.

Н. Петров

Ежемесячный общественно-политический журнал

«ПОСЕВ»

Выходит с 1945 года

Главный редактор Ярослав Трушнович

Журнал с многолетней политической традицией. Объединяет на своих страницах талантливейших публицистов России и зарубежья. Обсуждает политические, экономические, социальные, идеологические, духовные проблемы сегодняшней и будущей России. Поддерживает все конструктивные освободительные силы, желающие оздоровления жизни в стране.

«ПОСЕВ» — это богатая информация о положении в стране. «ПОСЕВ» откликается на все значительные явления внутрироссийской жизни. Подшивки «ПОСЕВА» — летопись освободительной борьбы в России и оценка мировых событий с российских национально-государственных позиций.

В 1982 г. в «ПОСЕВЕ» были опубликованы статьи, интервью, выступления за Круглым столом и др. произведения — А. Авторханова, арх. Антония, Б. Ахмадулиной, Ю. Вознесенской, М. Восленского, В. Высоцкого, А. Гинзбурга, Т. Горичевой, Р. Евдокимова, Б. Комарова, Ю. Кублановского, А. Левитина-Краснова, С. Левицкого, В. Максимова, А. Найденович, В. Некрасова, Э. Оганесяна, Б. Окуджавы, В. Поремского, Г. Рара, Р. Редлиха, Н. Рутыча, В. Рыбакова, А. Сахарова, Ф. Светова, В. Сендерова, С. Солдатова, А. Солженицына, А. Столыпина, Л. Тимофеева, А. Федосеева, свящ. Кирилла Фотиева, М. Хейфеца, Д. Штурман и др. известных авторов.

Кроме того, в 1982 г. в «ПОСЕВЕ» постоянно публиковались материалы Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ), были напечатаны программные документы ряда других подпольных групп, действующих в стране.

Годовая подписка непосредственно в издательстве —
72 нем. м.

Через магазины — 84 нем. м.

Цена в розничной продаже — 7 нем. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. 80

Георгий Владимов

«Не обращайтесь вниманья, маэстро»

В заглавии этого рассказа Георгия Владимова — строка из песни Булата Окуджавы. Подзаголовок — «Рассказ для Генриха Бёлля». Сюжет — осада квартиры писателя органами КГБ — взят из жизни самого Владимова, автора «Верного Руслана» и «Трех минут молчания». Это художественное произведение хорошо дополняется несколькими открытыми письмами Владимова — основными вехами его пути свободного писателя в несвободном государстве.

1983 карм. формат

72 с.

15 нм

РЕЛИГИОЗНЫЙ САМИЗДАТ

НАДЕЖДА

Христианское чтение

Составитель — Зоя Крахмальникова, Москва

Выходит 2 раза в год

Самиздатовские православные сборники под редакцией Зои Крахмальниковой. Около 400 с. в сборнике.

С 1821 и до 1917 года выпускались в России журналы под общим названием «Христианское чтение». В 1977 году в России нашлись люди, уверенные, что русское сознание нуждается «в слове Божьем для воскресения из мертвых». Они составляют сборники «Христианского чтения», по примеру некогда существовавших в России изданий, духовно окормливающих ее культуру.

В ПЕЧАТИ ВЫПУСК ДЕВЯТЫЙ

400 с. Цена отдельного выпуска — 24 нм.

(Магазинам, церковным приходам и другим распространителям — скидка)

Редактирует редакционная коллегия
Главный редактор Р. Н. Редлих
Заместитель главного редактора Н. Рутыч
Ответственный секретарь Д. Мусина

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaufrow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- ☐ Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ” — 17.50 н. м., „ПОСЕВ” — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.